

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ПЕВЕЦ БОЕВЫХ КОЛЕСНИЦ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Генерал внешней разведки Виктор Андреевич Белосельцев находился в отставке, столь давней и глубокой, что позолота с его генеральского, висящего в шкафу мундира осыпалась, а из боевых орденов ушло солнце. Они потускнели, как церковные купола, обклёванные птицами и источенные ветром.

Когда он смотрел в зеркало, его отражение начинало туманиться. Зеркало наполнялось дымом. В этом дыму тонуло его сухое, серое лицо, седая короткая стрижка, тревожные, с выцветшей синевой глаза. От бесцветных узких губ спускались длинные желоба морщин, идущих от носа к подбородку. По этим тёмным руслам из лица утекла бывшая сила и свежесть, острая чуткость и предвкусение открытия, которому предшествовало терпеливое наблюдение, долгое обдумывание, пристальное созерцание. Это открытие, под стать прозрению, позволяло ему создавать оригинальную картину войны, в которой он принимал участие. Картину, совмещавшую кропотливую аналитику и поэтический образ. За это его ценило руководство, до конца не понимавшее методику, позволявшую Белосельцеву безошибочно делать прогнозы и писать сценарии.

Теперь прежнее лицо скрылось в дыму, наполнявшем зеркало. Это был дым Герата, по которому стреляли “Ураганы”, и над городом поднимались клубящиеся великаны, похожие на чёрных джиннов. Это был дым Коринто,

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”, “Человек звезды”, “Время золотое”, “Убийство городов”, “Губернатор”, “Гость”. Живет в Москве.

когда горели цистерны с топливом, подожжённые диверсантами, и никарагуанские солдаты, тушившие пожар, катались по земле, сбивая пламя. То был дым горящих хижин в мозамбикской деревне, мимо которой по Лимпопо проплывал его катер, и воронёный ствол пулемёта отражал оранжевое зарево. Это был дым ангольских лесов, из которых убежали слоны, антилопы и огромные рогатые жуки, шуршавшие у подножья деревьев. Это был дым горящего Дома Советов в Москве, по которому с моста стреляли танки, он лежал на затоптанном ковре, и ему на спину сыпались осколки стекла.

От всех войн, от разведывательных донесений, от вербовок, предательств и прозрений остался дым. И он, разведчик, потерявший страну, которой служил, утративший связь с Центром, который посылал его на задания, всё больше склонялся к мысли, что Центр, перед которым он должен отчитаться за проделанную работу, находится не на земле, а на небе. И послал его в разведку не начальник, от которого не осталось ни кабинета, ни имени, а сам Господь Бог. Что Белосельцев является разведчиком Господа Бога, который направил его в земную жизнь, дал задание исследовать её в самые грозные, крошечные мгновения. Теперь Господь ждёт его обратно, чтобы принять от него доклад. Он, Белосельцев, является разведчиком Господа Бога и несёт ему несколько драгоценных крупин информации, которые добыл в течение жизни. Погибал, терял друзей, брал ложный след, снова возвращался на дорогу, которая ведёт его с земли на небо.

Там на небе, голый и босый, стоя перед Господом, он расскажет ему о всех земных войнах и о себе, совершавшем на этих войнах подвиги и злодеяния.

Но, казалось, Господь забыл о нём, не зовёт к Себе, не требует отчета о кропотливых изысканиях. Не предаёт его смерти, не лишает плоти, чтобы на Страшном Суде спросить с него по всей строгости небесных законов.

Белосельцев чувствовал, что зажился, что в жизни его исчез всякий смысл, и окружавшее его бытие только множит бесплодное прозябание.

Его фантазии хранили в своей глубине сюжеты русских народных сказок и библейских преданий, которыми в детстве сопровождалась бабушкины назидания. Эти фантазии убеждали его, что он может избежать смерти, как избежали её Енох и Илья-Пророк. Белосельцев будет взят на небо живым, во плоти, и таким живым во плоти предстанет перед Господом, напомним о себе. Поведает о своих сокровенных открытиях. Об афганской войне, африканском походе, о комариных джунглях Кампучии и ядовитой сельве в Никарагуа. Расскажет о жутких московских днях, когда вместе с памятниками валили страну. О горящем Доме Советов, из которого он выбирался по зловонным туннелям. Он не умрёт, а вытянет вверх заострённые руки, как их вытягивает ныряльщик. Станет тонким и лёгким, обтекаемым, как капля. Оттолкнётся от земли и нырнёт в небо, капнет с земли на небо. Пронесётся, как луч света, сквозь миры и очутится среди райского сада с цветущими яблонями, и бородатые праведники в белых одеждах отведут его к Господу. Как Илья-Пророк промчался на своей колеснице, гремя и сверкая, так и он, военный разведчик, знаток и участник войн, певец боевых колесниц, промчится по небу.

Он знал, что в небесах его ждут. Оттуда уже послан приказ возвращаться.

Когда он смотрел в вершины берёз, где начинала пламенеть лазурь, ему чудился купол Святой Софии, с которого среди золотых мозаик, грозный, с пылающими очами, взирает Пантократор, зовёт к себе. Оттолкнувшись от земли, сквозь вершины берёз он упадёт в волшебный колодец, из которого смотрит грозное золотое лицо.

Он был вдовец. Дочь и сын со своими семьями жили в других городах и редко награждали его своим вниманием. Он жил в одиноком загородном доме на покое.

Сейчас Белосельцев спустился в сад и наслаждался тёплым утром, свежей зеленой берёз, сквозь которую трепетало солнце. Великолепная сосна с пышными, до земли, ветвями красовалась среди других деревьев. Молодые побеги, как зажжённые свечи, тянулись вверх из каждой ветки. Сосна напоминала огромный подсвечник, окружённый сиянием.

Белосельцев любовался сосной, чувствуя её неземное происхождение. Её прислало на землю небо, и она стремилась обратно, туда, где её выростил небесный садовник. Сосна хотела, чтобы Белосельцев забыл о своей жестокой земной судьбе и обратил свои помыслы к небу.

Он подумал, что здесь, у сосны, он может поднять к небу руки, стать лёгким и невесомым, подобно лучу, и взлететь на небо. Отсюда ведёт в небеса коридор, по которому он достигнет небес. Отсюда, а не оттуда, из афганских гор, среди горящих танков, где прорыт коридор в преисподнюю.

Белосельцев поклонился сосне, а та благословила его троеперстием зелёных побегов. Он поднял руки, вытянулся, превращаясь в стрелу, и взлетел. Скользнул сквозь берёзу, спугнув синекрылую сойку, обогнал в вышине сверкнувшего серебром голубя и оказался на небе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Он был сокрушён. Его окружала чёрная полярная непроглядность. Лды бескрайние, тяжело освещённые мертвенным светом, казались залежами антрацита, в котором редко мерцали злые кристаллы. Высоко над льдами, в багровом тумане светила звезда. Она не имела лучей, как ночничный фонарь, и казалась кровавым тампоном. Белосельцев ощутил невыносимую тоску и смятение. Теперь он навеки помещён в это багровое облако, источавшее болезнь и смерть.

Это Арктика, окраина России, за которой кончалось русское время и прерывалась русская история.

В разных местах льды с треском лопались, и всплывали американские подводные лодки, похожие на продолговатые чёрные яйца. Было видно, как у бортов перевёртываются льдины, издавая стуки и хрусты. Под звездой пролетел одинокий бомбардировщик, оставляя кровавый негаснущий след.

Белосельцев замерзал. Холод бесчисленными струйками вливался в него. Превращал кровавую частицу в крохотную красную льдинку. Уши переставали слышать. Ушные отверстия и ноздри наполнялись колким льдом. Глаза останавливались, переставали видеть, становились тяжёлыми шарами льда. Мозг отказывался думать, превращался в глыбу льда, какая намерзает в водосточке. Грудная клетка с ледяными пластинами лёгких и булыжником сердца причиняла при дыхании несносную боль. Он превращался в ледяное изваяние, вмерзал в лёд, и багровая, лишённая лучей звезда недвижно светила в мёртвой глазнице.

Однако последней предсмертной мыслью, струйкой тепла, присланной с земли цветущей сосной, он вспомнил, как на коже пергамента, среди старобрядческих хроник прочитал замысловатую надпись, сделанную безвестным иноком Зосимой. В этой надписи говорилось, что там, где кончается Россия, сразу же начинается Царствие Небесное. И это исчезающее воспоминание, старательно, с крюками и буквицами исполненная на пергаменте надпись, растопило в голове кровавую струйку, и глаз с багровым фонарём звезды оттаял.

Белосельцев заметил, что полоска льда растаяла. Плескалась вода тёмного, синеватого цвета, отражая тёплое ночное небо. Этот летний плеск вызвал у Белосельцева облегчение, словно он проснулся среди родных и знакомых звуков.

Он прошёл по мелкой воде, нащупывая голый стопой мягкое дно, и вышел на берег. Под ногами была трава, жёсткая, какой обычно зарастают склоны оврагов. И по мере того, как светало, Белосельцев увидел себя на низком берегу, по которому проходил просёлок с тележными колёсами. Непрочная изгородь вдоль обочины отделяла от дороги выгон.

Солнце встало, потеплело, и лёд, наполнявший Белосельцева, растаял, скатился тёплым быстрым дождём. И по той открывшейся лёгкости, по блаженному облегчению Белосельцев понял, что находится в Царствии Небесном.

Он стал оглядываться осторожно и бережно, не желая спугнуть милой доверчивой тишины и покоя. По краям Царствия Небесного стояли серафи-

мы. Они напоминали флаконы зелёного цвета и светились в своей глубине. В них что-то мерцало, слабо вспыхивало. Лились какие-то струйки, лопались пузырьки. Накалялись какие-то нити. Перегорали. Осыпались искрами. В этом зелёном графине шёл непрерывный обмен соками и переливами света. Серафимы питали Царствие Небесное таинственными силами, обеспечивая свет и тепло. От них пахло берёзовыми вениками.

Белосельцев прошёл по просёлку, который перегораживали шаткие тесовые ворота. Створки никогда не закрывались, тес был старый, кое-где из него выпали сучки.

Белосельцев заметил, как на шершавые доски ворот садятся бабочки-крапивницы. Собирают в свои красноватые крыльца солнечное тепло, согреваются и улетают лёгкой тенью туда, где в утреннем свете синеют леса. И вид этих бабочек умилил и растрогал его.

Стая воробьёв шумно прилетела под зелёный полог величавого серафима, забила крыльшками, закувыркалась в пыли. Воробьи были красивы своими маленькими бойкими тельцами, шустрými клювами, мерцавшими капельками глаз. Белосельцев догадался, что воробьи — это ангелы небесные, находящиеся в услужении у Господа. Как у ангелов, у них есть крылья, они мгновенно собираются в стаю, чтобы выполнить поручение Господа. Их присутствие не нарушало, а лишь усиливало обыденность Небесного Царствия, законы которого не требовали уяснения, а принимались охотно на веру.

Белосельцев обвёл глазами дали, и повсюду: в полях, на холмах, на озарённых вершинах — цвели одуванчики. Земля была золотой, ликующей, источала свет, питала этим светом солнце, и душа, оказавшаяся среди русских золотых цветов, счастливо вздохнула. Она добралась, наконец, домой после всех скитаний, и можно целовать душистый цветок, оставляющий на бровях и губах золотую пыльцу.

Белосельцев уже вошёл в тесовые ворота Царствия, уже сделал несколько шагов по просёлку. Но никто его не окликнул, никто не спросил, зачем он сюда явился. Не было грозного золотого Пантократора, призвавшего на Суд. Только веял с лугов душистый ветер, пахло розовым клевером, и пролетел коростель, потешно свесив неуклюжие ноги.

Белосельцева не тяготило одиночество. Он веровал, что законы Царствия предусматривают эти первые часы, в которые вновь прибывший избавляется от земных забот. Он услышал отдалённый гул, словно в одно место слетелось множество шмелей, и они погружают упрямые головки в мохнатый клевер, ворошат соцветия лапками и, выбрав нектар, жужжа, перелетают на соседний цветок. Гул приближался, его колыхало ветром, и скоро он превратился в пение, но не людских голосов, а текучих вод, дуновений ветра, в котором начинают петь множество едва различимых существ. Звук казался гармоничным, словно рождался в тенистых глубинах его души.

Вдалеке забелело. Казалось, по просёлку густо летит пух, сбивается в облако, переносимое ветром. Белосельцев увидел, что весь просёлок наполнен людьми, которые слились в единое шествие. Все они были в белых одеждах. Была в них зыбкость и невесомость, не привязанность к земле. Он угадал, что это праведники, прибывающие в Небесное Царствие. Их было несметное множество, их производила земля, плодонося праведниками. Белосельцев не спрашивал себя, что заставляет плодоносить землю, как появляются на Руси праведники, ибо так было устроено мироздание, где он обретался и смиренно принимал законы этого мироздания.

Процессия приближалась, заполняла просёлок. Воробьи тучами летели вдоль обочины, не давая праведникам свернуть с дороги. Серафимы, стоящие по углам Царствия, засияли ярче, в них прибавилось зелёного света, словно они приветствовали появление процессии, и запах парных веников усилился.

Белосельцев заметил, что шествие движется не само по себе, а у него есть предводитель — женщина, немолодая и по виду очень усталая. Она шагала по просёлку, возглавляя шествие праведников, и её покачивало из стороны в сторону. Белая процессия, вторя ей, колыхалась от одной обочины к другой. Было видно, что перемещение праведников с земли в Царствие

Небесное даётся нелегко, да и сами праведники, изнурённые долгим страданием, валились с ног.

Белосельцев уступил им дорогу, потеснившись к обочине, всматриваясь в их лица. Это были мужчины и женщины, похожие друг на друга тихой прозрачностью. Их хрупкие кости просвечивали сквозь мягкую дымку.

Ленинградцы, пережившие блокаду.

Но не было заметно следов мучений, скорее, благодарность за наступившее забвение.

Белосельцев всмотрелся в женщину-предводителя и узнал в ней Ольгу Берггольц. Он никогда не встречался с Ольгой Берггольц, не знал, как она выглядит, не помнил её портрета. Но это была она.

Они встретились глазами, и она устало ему улыбнулась. Она была затянута в аметистовое вечернее платье, тесное в талии. На груди красовался аметистовый бант, а на длинных сухих пальцах сиял аметистовый перстень. Белосельцева не удивил этот вечерний туалет, который мог показаться странным на жарком просёлке. Так было устроено Царствие, и его законы не вызвали недоумения.

Матросы с кораблей Балтийского флота, рабочие заводов, профессора университетов, исчахшие от голода, шли крестным ходом, без икон и песнопений, как идут прихожане большого монастыря, перебрывая ручьи, путаясь в горячих травах, забредая в прохладные синие тени окрестных лесов.

По дороге их встречали, угощали прохладным клюквенным морсом, совали пирожки. Праведники подкреплялись и благодарно двигались дальше, туда, где вдали были золотые одуванчики.

Ольга Берггольц подхватила на руки мальчика, у которого не было сил идти.

— Вы не поможете? — попросила она Белосельцева. Тот принял от неё мальчика, некоторое время нёс, чувствуя, как пахнет от него молоком. Опустил на землю, и мальчик бросился догонять синеглазую женщину в белой косынке.

Солнце пекло ровно и слепо, глаза наполнялись едким потом. Белое облачко, не в силах заслонить солнце, превратилось в размытую радугу. Сильно пахли полыни. Луг сверкал ослепительными выюнками, полевыми горошками, розовыми свечками подорожника. Все мерцало, плескалось от бесчисленных мотыльков, бабочек, которые вдруг возносились и медленно парили в изнеможении. И всё это вдруг остановилось и замерло.

Из-за леса встала большая синяя туча. Похолодало. Из тучи, круглой и синей, как шар, прогрохотало. Это Илья пронёсся на своей боевой колеснице. И в раскалённую пыль просёлка упало несколько тяжёлых капель. Дунуло холодом, край синей тучи наклонился, как переполненное корыто, и хлынул ливень. Всё померкло, чёрная вода заслонила дали. Струи хлестали по плечам, головам, не давали дышать, бурлили на губах пузырями. Праведники промокли, стояли в прилипших одеждах, с наслаждением поднимая лица к туче, а их поливало, омывало, очищало, их приветствовало водами Царствие Небесное.

Белосельцев стоял в ручье, который нёсся по просёлку. Поддерживал Ольгу Берггольц, у которой аметистовое вечернее платье почернело от воды, прилипло к ногам и спине.

Дождь кончился мгновенно, оборвался, затих. По просёлку плыли пузыри. Праведники счастливо убирали с лиц мокрые волосы, словно вышли из купели.

Туча ушла за лес, и в небе восхитительно, пламенно горела радуга. Славила праведников, прибывших в Небесное Царствие. Белое шествие исчезало среди золотых одуванчиков.

Просёлок высушал, по нему удалялась процессия. Теперь, издалека она казалась лёгким пухом, который колеблется ветром. Иные превращались в белые барашки, которые медленно парили над водами, совсем как стада невинных агнцев.

Просёлок высох. Только оставалась малая лужица. К ней с лугов слетелись на водоной бабочки-голубянки. Мерцали, взлетали, снова садились к воде.

Белосельцев, умилённый, благостный, испытывал блаженство. Он находился в обетованной земле, куда возвратился после долгих скитаний.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ещё дважды до захода солнца Белосельцев наблюдал переселение праведников с земли на небо. Один раз это было многолюдное шествие, состоящее из поэтов Серебряного века и религиозно-философских школ. Шествие возглавляла Анна Андреевна Ахматова со своим характерным носом, похожим на изящный молоточек с горбинкой. Она улыбалась каким-то своим потаённым мыслям. На ней были белые кружевные чулки и остроносые туфли, купленные в парижской лавке. Праведники ступали с достоинством, хотя многие были босы. Они связали обувь шнурками, повесили себе на плечо и наслаждались теплой пылью просёлка, в которой тонули их босые стопы. Александр Блок нёс вешалку с хорошо разглаженным костюмом, а отец Сергей Булгаков держал в руках свежий красноголовик, который нашёл в мокрой траве и никак не хотел с ним расставаться.

Второй исход праведников с земли состоялся под водительством Зои Космодемьянской. Короткая стрижка над светлым лбом делала её похожей на мальчика. За ней шли ополченцы Донбасса, но среди них иногда встречались участники Севастопольской страды, в частности, адмирал Нахимов в фуражке с лакированным козырьком.

Обе процессии проследовали с некоторым интервалом и разошлись в разные стороны Царствия Небесного. Одуванчики закрыли свои золотые венчики, вершины холмов казались красными, и над далёкими вечерними водами летели белые барашки безгрешных душ.

Белосельцев заметил на просёлке оброненный георгиевский крестик и дамскую шпильку. Тут же прилетели воробьи, подхватили крестик и шпильку и унесли.

Первый день его пребывания в Царствии Небесном завершился. Белосельцев не обременял себя заботами о ночлеге. Он отыскал в дугах копёшку зелёного клевера, зарылся в сладкое сено и вдыхал дивные ароматы нежно шелестящих стеблей. Вдалеке в дугах призрачно зеленели серафимы, слабо освещающая окрестность. Белосельцева ничто не удивляло из того, что он встретил в Царствии. Он всё принимал как должное, не требуя разъяснений. Его не занимало, почему на земле постоянно случаются войны, тлеют мятежи, разгораются революции, и люди мучают и убивают друг друга. В итоге этих войн и революций, людских смертей и мучений множатся праведники, и их появление не объясняется человеческими уложениями и законами. Так устроена земная Россия, что в ней после очередной войны и революции множатся праведники, как грибы после тёплого дождя. Один из этих грибов, сияющий, как лампочка, нёс отец Сергей Булгаков, шлёпая ногами по лужам.

Ночью сквозь сон Белосельцев слышал щёлканье пастушьего кнута. Над ним вдруг наклонялась тёмная коровья голова с чёрными блюдцами глаз. И в коровьих рогах текли звёзды.

Белосельцев проснулся поутру и вылез из зелёной копёшки. Воробей, стороживший его сон, взлетел и скрылся в полях. Все обитатели Царствия Небесного были уже на ногах и занимались делами, мало напоминавшими работу, а скорее, разделились на группы по интересам, развлекая друг друга. Белосельцев решил, что это послушания, коими Господь обременял праведников.

Он отметил, что далеко не у всех на головах находились золотые нимбы, и каждый нимб имел свою форму, которая, по-видимому, ничего не значила, ничем не отличала одного праведника от другого. У некоторых лоб перетягивала узкая золотая тесьма. У других волосы были накрыты золотистыми косынками. У третьих были козырьки золотого цвета, а четвёртые носили на головах прозрачные золотые сосуды, в которых плавали золотые рыбки или распевали крохотные золотые птички.

По-прежнему Белосельцев был предоставлен самому себе, и никто не спрашивал, что он здесь делает. Осторожно, чтобы не показаться навязчивым

и неделикатным, он стал наблюдать за праведниками. Он увидел длинный деревянный стол и лавки, на которых сидели синеглазые мужики в белых рубахах и хлебали из деревянных мисок похлебку. Причём похлебка была, как пар; мужики черпали пар ложками, отправляли себе в бороды, где темнели рты, да похваливали. Им прислуживал граф Шереметев. Ловил черпаком пар и наполнял им опустевшие миски. Он был в фиолетовом камзоле с серебряным шитьём, в кружевном жабо, и в его парик был небрежно вилетён золотой одуванчик.

— Ваша светлость, добавки, — требовали мужики. Граф никому не отказывал, иногда слизывая пар с черпака.

— А Парашеньки-то нету. Нету жемчужинки моей, — жалобно обратился граф к Белосельцеву, и тот впервые почувствовал, что в Царствии Небесном может обнаруживаться страдание, нарушающее общую благодать.

На солнечной стороне холмов цвели яблони. Сад был немолодой, слегка запущенный. Лепестки начинали опадать, но в цветах продолжали гудеть пчёлы. То одна, то другая, отягощённая сладкой пылью, падала на круглый стол, что стоял под яблонями, с трудом стараясь взлететь.

Белосельцев увидел за столом кружок поэтов, которые золотой нитью вышивали на пяльцах монограмму Государя Николая Первого. Все они были златошвей. Руководил кружком Александр Сергеевич Пушкин, терпеливо показывая товарищам, как следует класть золотой стежок. Пушкину внимали Вяземский, Жуковский, Дельвиг, Баратынский, Языков и Кюхельбекер. Воробьи выдёргивали из клубочка золотую нить, подавали Пушкину, а тот, ловко орудуя иглой, шивал её в натянутый на пяльцах белый шёлк. Остальные старались повторить движения Пушкина. У всех получалось, кроме Кюхельбекера. Тот нервничал, нить ложилась неровно и иногда рвалась.

— А ты её легонько поддень, а потом подтяни. И дай успокоиться. Шёлк своё возьмёт, — Пушкин любовался белым шёлковым овалом, на котором переливалась буква “Н” с римской цифрой “I”.

За садом стояла беседка, оплетённая плющом. В беседке склонились над столом граф Милорадович и Каховский. У обоих на головах красовались золотые сосуды, и в них, отливая на солнце, ползали маленькие бронзовые жучки. Это говорило о том, что Милорадович и Каховский часто проводили время вместе, и жучки свободно переползали из сосуда в сосуд.

Теперь два праведника были заняты тем, что обменивались коллекционными тувинскими марками, выпущенными незадолго до присоединения Тувы.

Марки были великолепны — треугольные, ромбовидные, — на них были сцены охоты, рыбные промыслы, животные и птицы этой экзотической страны; в небесах летел серебряный дирижабль. Каховский предлагал Милорадовичу за этот дирижабль медведя, выхватывающего рыбу из потока, и двух сражающихся маралов. Милорадович отказывался, но чувствовалось, что он, в конце концов, уступит.

Белосельцев, наблюдая праведников, пришёл к убеждению, что в Царствии Небесном есть время, есть пространство, есть материя. Но всё это было заключено в световые пучки, в стеклянные миражи. Те, что возникают в жаркий полдень на асфальте шоссе. Праведники освоили эти стеклянные вспышки, использовали их для своих забав. Догоняли миражи, вскакивали внутрь, разгонялись, скользили, сталкивались, превращались в стеклянные отражения, исчезали, чтобы возникнуть в другом месте.

Белосельцев, размышляя об устройстве Царствия, предположил, что над этим Царствием существует Надцарствие, но дальнейшим размышлениям не стал предаваться.

Он увидел живую грядку цветов, которые обычно растут в деревенских палисадниках. Здесь были золотые шары, розовые и фиолетовые флоксы и крупные сочные мальвы. Под навесом стоял стол и два стула. Весь навес был облеплен глиняными ласточкиными гнёздами, из которых торчали молчаливые птичьи головки с белыми воротничками. Ласточки высидывали птенцов, и было слышно, как те созревают в яйцах.

Под навесом напротив друг друга сидели архиепископ Верейский Иларион (Троицкий) и Владимир Ильич Ленин.

— Новомученики, Владимир Ильич, хотели бы написать ваш образ и поставить его в соборе Сретенского монастыря, — произнёс Иларион. — Ибо никто не сделал столько для умножения на Руси священномучеников, как вы. Я распорядился подготовить доску для образа и испытать нескольких иконописцев. Вы не станете возражать?

Ленин молчал. Затем край его жилетки на плече стал подниматься, и показалось стрекозиное крыло. Оно было серебристое, сетчатое. Ленин осторожно двигал плечом, и крыло всё больше выступало наружу. Оно удлинялось, увеличивалось, тянулось вдаль за палисадник, за далёкий овин, за скирды хлеба, к дальним лесам. Оно отливало на солнце, как слюда, казалось отдалённой речной протокой, над которой, едва заметные, летели утки.

Ленин и архимандрит Иларион некоторое время сидели молча. Потом Ленин стал осторожно поводить плечом, убирая крыло. И оно медленно, с тихим шелестом втянулось под жилетку. Ленин и архимандрит Иларион продолжали сидеть, больше не обменявшись ни словом.

Внимание Белосельцева привлекла веранда, какие бывают на подмосковных дачах, светлая, простая, с круглым столом под льняной скатертью. За столом сидел Сталин. Он был в белом полувоенном френче. Белосельцев заметил на локтях и лацканах френча аккуратные заплатки. Они были тщательно заглажены и слегка лоснились. Усы и брови Сталина были расчёсаны. Гребешок лежал тут же на столе.

Белосельцев увидел, как на веранду вбежал танкист, разорванный снарядом на Курской дуге. У него не было рук, разворочен живот, и из пустых глазниц текли кровавые слёзы. Всё это было едва заметно под белым балахоном, в который был облачён танкист. Он кинулся на грудь Сталину и спрятал в складках френча лицо. Сталин нежно прижал к себе его голову и гладил по волосам.

Следом за танкистом вбежал пехотинец, подорвавшийся на mine. Хромая, он приблизился к Сталину и прильнул к его груди, а тот поцеловал его в лоб. На веранду то и дело вбегали солдаты, офицеры и генералы. Их смертельные раны скрывали долгополые белые рубахи. Все они искали утешения у Сталина, а тот целовал их и что-то тихо шептал. Сержант-связист, обнявший Сталина, заметил, что на его седеющей голове нет нимба. Бросился с веранды в луга, где цвели одуванчики, сплел из них веночек и, вернувшись на веранду, возложил на голову Сталина.

Подааль на траве было постелено лоскутное одеяло. Стояла тарелка с очищенными яйцами, зеленели стрелки лука прямо с грядки, стоял чугунок с картошкой в мундире, над которой поднимался парок. На одеяле удобно разместились два праведника профессорского вида с седыми комочками бород. У одного в волосах запуталась божья коровка, и второй деликатно старался её выпутать.

— А не удивляет ли вас, сударь мой, что среди праведников отсутствует молитвенник Земли Русской, Преподобный Сергей Радонежский? — спрашивающий опасливо оглянувшись, не достался ли его вопрос постороннему слуху.

— А вы не знаете?

— Для меня, признаюсь, это большая загадка.

— Да потому, что перед поединком Пересвета и Челубея он отпилил у Пересвета часть копыя. Копьё стало короче, Челубей первый ударил Пересвета, пронзил его и сам напоролся на острое копыя Пересвета. Оба упали замертво. Но Господь счёл поступок Сергия неправедным и отказал ему в Царствии Небесном. Но об этом молчок.

— Разумеется, мой друг.

Они достали из чугунка клубни, покатали их в ладонях и стали чистить, завершив на этом беседу.

Второй день пребывания Белосельцева в Небесном Царствии завершился. Красное солнце садилось в дуга. Под шатром старой ивы толпились комары-толкуны, совершая однообразные движения вверх-вниз, словно хотели передать Белосельцеву какую-то весть. Но тот не мог понять значения их безмолвных иероглифов.

Белосельцев не чувствовал себя неприкаянным. Напротив, он отдыхал, предоставленный самому себе, но его удивляло, что огромный жизненный опыт, добытый им среди сотрясавших землю войн и революций, никого не интересует. Никто не вызывает его для отчёта, никто не берётся судить его за ошибки в прогнозах, за неверно составленные сценарии.

Теперь он двигался через сырой луг, сбивая с травы обильную росу, и помышлял о ночлеге.

Он дошёл до реки. Вода текла тяжело, густо, в прибрежной осоке крикали утки. Он увидел паром, скроенный из грубых брёвен, обшитых тёсом. За стальную проволоку тянули паромщики, перегоняя паром с одного берега на другой. Посреди парама высился горящий стог сена. Его красное отражение уходило в чёрную реку, и на свет всплывало множество мальков, глазастых, юрких, с зеленоватым отливом. Паромщики сурово перегоняли паром, и Белосельцев узнал в них двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев.

Белосельцев спустился вниз по реке, надеясь обнаружить какой-нибудь рыбачий шалаш, чтобы скоротать в нём ночь.

Ему казалось, что Царствие после дневных сумерек должно уйти на покой. Но, напротив, он повсюду замечал оживление. Через луг шли оживлённые группы праведников. Некоторые размахивали флагами, другие несли сосуды, похожие на сухие тыквы, постукивали в них, извлекая гулкие звуки.

— Не будете ли столь любезны, не объясните ли мне природу столь позднего оживления? — спросил Белосельцев двух фрейлин императрицы Елизаветы Петровны. Обе засмеялись, посмотрели на Белосельцева, как на забавного чудака.

— Сегодня в Царствии ночное празднество. Венчаются княгиня Зинаида Александровна Волконская и певец Дмитрий Хворостовский. Прошлое их венчание проходило на святки, и подавали к столу удивительно сладкий снег.

Обе фрейлины кокетливо засмеялись. Белосельцев слышал, как шуршит о траву их парча, и бриллиантовые короны, как звёздочки, гаснут в лугах.

На широком выгоне, где днём паслись коровы и пощёлкивал кнут пастуха, был воздвигнут дворец, тот самый, что находился на углу Фонтанки и Невского, откуда были видны кони, которых объезжали наездники. Дворец был полной копией подлинника, но сделан не из камня, а из кисеи. Розовая и зеленая кисея просвечивала и слегка колыхалась, напоминая марлевый сачок, в который были уловлены бабочки.

Княгиня Волконская и Дмитрий Хворостовский встречали гостей. Певец со своей прекрасной русской улыбкой, пышным серебром волос одаривал гостей лаской, а княгиня Волконская протягивала для поцелуя руку, затянутую в лайковую перчатку. Целуя эту царственную руку, Белосельцев ощутил запах горьковатых духов, чья нежная горечь напоминала дым афганских предгорий, где в кишлаках топились глинобитные печи, и две женщины в зелёной и синей парандже шли по проулку.

Хворостовский осведомился у Белосельцева, давно ли тот из Лондона, и, не дождавшись ответа, уже улыбался директору авиастроительной корпорации.

Зал был полон гостей. Здесь были вельможи императорского двора, композитор Алябьев, внешне несколько похожий на соловья, несколько генералов Туркестанского похода и член Политбюро, ответственный за Лунный проект. Гости перемещались по залу, разговаривали, им подносили шампанское, которое, едва его касались губы, превращалось в крохотные летучие радуги.

Белосельцев заметил среди гостей свою двоюродную бабушку, окончившую Бестужевские курсы и позднее вместе с итальянскими археологами работавшую на раскопках в Помпеях.

В залу внесли клавесин, отделанный карельской берёзой. Княгиня Волконская села в круглое креслице, вытянула ногу с узкой лодыжкой в остроносой французской туфле, надавила бронзовую педаль и утопила несколько костяных клавиш. Звук получился хрупкий, хрустальный. Гости окружили клавесин, и седой камергер с красной парчовой лентой через плечо встал в ухо слуховую трубку. Хворостовский приблизился к клавесину, сцепил перед грудью руки, словно боялся, что звук в неповиновении отхлынет из груди, и запел. Он пел своим бархатным, густым, как мёд, голосом песню “В далёкий

край товарищ улетает...” Первые же, из сердца идущие звуки, знакомые каждому русскому человеку, прощальные слова, в которых душа отрывает себя от любимых и ненаглядных, чтобы больше не встретиться и всю остальную жизнь вспоминать о несказанной любви, наполнили душу. С первых же слов возникла такая тишина, словно ночь умолкла, внимая божественной песне. Княгиня Волконская лишь слабо вторила песне хрустальными звуками. В глазах её были слёзы. Старый Туркестанский генерал, прошедший вместе со Скобелевым до Хивы, прижимал к глазам батистовый платок. Конструктор самолётов, посылавший свои машины в небо Испании, вздыхал. На его груди сиял красный орден.

Но потом тишина ночи сменилась бесконечными разливами, повторявшимися песню на тысячи голосов. Пела осока в реке. Проснулись и пели ночные птицы в лесах. Пели двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев, перевозивших на пароме горящий стог.

Желуди в соседней дубраве светились, и дубы были в бесчисленных золотых огоньках.

Дмитрий Хворостовский перестал петь, а желуди на дубах продолжали светиться.

После дивного пения не сразу перешли к угощениям. Праведники не стали усаживаться за столы, а тесно встали у стен. Другие праведники, ведающие угощениями, стали выдувать из берестяных дудок разноцветные шары и метать их среди гостей. Шары были лёгкие, прозрачные, они взлетали, а праведники их хватали губами, они лопались, осыпались брызгами. Праведники шалили, подбрасывали шары носами, отнимали их друг у друга. Два шара достались Белосельцеву. Один, розовый, лопнул у него на губах, оставив слабый вкус земляники. Другой, синий, исчез, едва его коснулся язык Белосельцева, и тот уловил запах лугового колокольчика. Откусав, властью отведая разноцветных шаров, праведники понесли новобрачным подарки.

Княгине Волконской преподнесли платье из нежных лоскутков, каждый из которых был бабочкой с альби и зелеными вкраплениями, серебристыми жилками и золотистой пылью. Княгиня обрадовалась подарку, пожелала тут же примерить платье. Две фрейлины, которых Белосельцев встретил в дугах, помогли княгине надеть воздушное платье. Но как только княгиня, любящая собой, заглянула в зеркало, платье превратилось в облако бабочек, которые наполнили дворцовую залу, а потом через открытые окна полетели в ночь. Одна из бабочек села на руку Хворостовского, он поцеловал её, и она улетела. Два праведника поднесли ему деревянный поднос, на котором лежала большая серебряная рыба. Она слегка била хвостом по подносу, но едва Хворостовский коснулся её, она вспыхнула, засверкала, у неё выросли бриллиантовые крылья, она вспорхнула с подноса и полетела к дальним дубравам, над которыми описывала спирали и дуги, оставляя сверкающий след. Новобрачным поднесли букет чертополохов, который вдруг расцвёл розовыми лампадами, разлетелся из дворца в поля, и там в чёрной ночи танцевали негасимые лампы, и низко над ними стоял оранжевый месяц, и ночное косматое чудовище танцевало среди цветов, трубя в берестяной рожок.

Наступило время веселья, и оно было безудержным. Полые голубые шары сыпались на луг. Праведники догоняли эти шары, забирались вовнутрь. Шары мчались, перевёртывались, праведники барахтались в них. Некоторые выпадали, и тогда один норовил отнять шар у другого, завязывалась беззлая перепалка. Шаров было множество. Они напоминали икринки, а засевшие в них праведники были подобны малькам.

Белосельцеву удалось проникнуть в один из шаров. Шар мчался, подскакивал. Сквозь прозрачную оболочку Белосельцев видел счастливое лицо академика Вернадского, который шутливо отдал ему честь.

Веселье, которое испытал Белосельцев, было безграничным, как в детстве, когда каждая клеточка растущего тела ликовала, смеялась, славила благословенный мир.

Вслед за шарами-икринками ночное небо наполнили хохочущие рыбы. Длинные, сверкающие, они стаями пронеслись над дворцом, оглашая окрестность женским пленительным хохотом. Их было множество. Они гнались одна

за другой, пронеслись сквозь дубравы, оставляя в чёрных дубах зеркальные проблески. Несколько рыб неосторожно приблизились к зелёным, как огромные фонари, серафимам и запутались в их вершинах. Висли хвостами вверх, вздрагивали, продолжая смеяться.

Праздник завершился грандиозным фейерверком, когда в ночную синеву взлетели брызгающие искрами звёзды, устремились золотые змеи, расцвели воздушные букеты, и весь этот счастливый огонь мчался ввысь, достигал Надпарствия, выстилал мироздание лучистым серебром.

Белосельцев был счастлив принять участие в небесном торжестве. Утомлённый, умилённый, храня на губах вкус лесной земляники, он отправился искать ночлег. У стожка, где он ночевал прошлую ночь, он увидел княгиню Зинаиду Волконскую и Дмитрия Хворостовского.

— Если вам интересно продолжение истории, приходите через час в библиотеку. Там на нижней полке вы найдёте рукописную книгу астролога Вольфа Рейнольдеа. Я сделала закладку. Откройте и прочитайте. Вам это многое прояснит.

Хворостовский поцеловал княгине руку, и они удались.

Белосельцев лежал на стогу, без мыслей, без чувств, а только с неисчезающим счастьем. В полях продолжали гулять негасимые чертополохи, на чёрной реке двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев перевозили горящий стог. Белосельцев уснул, и ему казалось, что он видит сон о сне, и он может по тонкой паутинке перемещаться из одного сна в другой.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Белосельцев проснулся поздно и обнаружил царящую вокруг кипучую деятельность. Одни праведники сворачивали в рулон кисейную стену дворца. Другие поправляли в полях помятые колокольчики. Третьи метёлками сметали с дороги лопнувшие шары. Четвёртые, приставив к серафимам стремянки, выпутывали смеющихся рыб, которые всё никак не унимались и время от времени хихикали. И во всём этом самое деятельное участие принимали воробы, которые, как уяснил себе Белосельцев, были ангелами. Белосельцева по-настоящему начинала заботить его неприкаянность. Никто не заметил его появления в Небесном Царствии, никто не требовал от него отчёта за проделанную в течение земной жизни работу. Он был уверен, что обладает бесценными сведениями, ради которых столько раз рисковал, подвергал риску других, и теперь эти бесценные накопления некому было передать. Он решил выяснить, где в Небесном Царствии пребывает Господь, и самому, не дожидаясь приглашения, явиться к нему на Суд.

На лугу поодаль друг от друга стояли две засохшие берёзы. На их мёртвые вершины были набросаны ветки, ворохи соломы, сухой камыш, вялая трава. Это были гнёзда, и в них, как аисты, сидели Лев Николаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский. Оба перебирали какие-то листики, букетики, словно не замечая друг друга. Но потом внезапно вскидывали головы, запрокидывали вверх бороды и оглашали окрестность сердитым клёкотом. Что-то им не нравилось друг в друге, в чём-то чувствовалось несовпадение, но было видно, что они не могут один без другого, и это мешало им разлететься в разные стороны. Время от времени они поднимали плечи, выпускали широкие сизые крылья и покидали гнёзда. Делали несколько кругов над лугом, приземлялись поодаль друг от друга, делая вид, что не замечают один другого. Но потом сходились, и Лев Николаевич Толстой что-то сердито втолковывал Фёдору Михайловичу Достоевскому, в чём-то его убеждал, а тот упорствовал.

Белосельцев решил нарушить их религиозно-философский спор, приблизился и деликатно спросил:

— Господа, не считите меня навязчивым, но вам, несомненно, местные нравы понятнее, чем мне, вновь прибывшему. Не могли бы вы указать мне, где находится Господь Бог, встреча с которым мне крайне необходима.

Толстой посмотрел на него с некоторым удивлением. Видимо, так аисты смотрят на съедобных лягушек. Но передумал проглатывать Белосельцева:

— Да вот же Он, у вас под носом. А теперь извольте нам не мешать.

Белосельцев оглянулся и увидел своего школьного учителя словесности Михаила Кузьмича, который вместе с учениками сажал при дороге деревья.

Ну, конечно же, это был Господь! Белосельцева не могли обмануть застиранная косоворотка, вытянутые на коленях брюки, костлявая сильная рука, которой Михаил Кузьмич обычно хватал край стола, колючий насмешливый взгляд из-под седых бровей. Это был Господь Бог, принявший внешность любимого учителя, перед которым Белосельцеву всегда хотелось быть лучшим, писать лучшие диктанты, приносить лучшие сочинения, добровольно вызываться к доске, чтобы прочитать наизусть стих или отрывок из толстовской “Охоты”. И теперь это желанье быть услышанным, заслужить похвалу, увидеть, как в серых глазах мелькнёт одобрение, повторилось в Белосельцеве с прежней силой.

— Я расскажу Тебе, Господи, о гибели роты в горах Панджшера, когда мы взяли в плен моджахеда. Его звали Саид, мы привязали его к столу и пытали током. Он клялся, что не знает, в каком ущелье отсутствует засада и где может пройти наш спецназ. Мы обмотали его мокрой простыней, крутили полевой телефон, и у него кровь шла изо рта. Мы стали рвать его Коран, и он изнемог и сдался, указал тропу, где не было засады. Я повёл спецназ, нас заперли в ущелье, и мы потеряли роту. Трупы два дня вывозили вертушками. Я сидел у зелёной реки Панджшер, смывал засохшую кровь, а мимо меня по воде протацило раскисшую чалму, сбитую пулей с чьей-то головы. Об этом я хотел рассказать Тебе, Господь.

Учитель не отвечал, и его носатое, коричневое от солнца лицо было исполнено печальной думы.

— Хотел рассказать Тебе, Господь, как в сельве Рио-Кокко я исследовал все протоки, по которым на каноэ перемещались мятежные индейцы. С сандинистами мы загнали индейцев на остров и час молотили из миномётов. На трупы слетелись все грифы и беркуты сельвы. Мы связали верёвками флот индейцев, подожгли каноэ и смотрели, как плывут в протоках горящие лодки.

Учитель молчал, и Белосельцев, волнуясь, спросил:

— Разве это не интересно Тебе, Господи? Только Тебе я доставил эту секретную информацию.

— Всё это очень важно, и об этом я спрошу тебя позднее. А сейчас расскажи мне лучше о колокольне.

— О какой колокольне, Господи?

— О колокольне Тихвинской Божьей Матери, которая долгие десятилетия смотрела в окно твоего дома и вырастила тебя тем, кем ты стал.

Учитель печально и ласково смотрел на Белосельцева, а тот растерянно, в смятении не знал, что ответить.

Боже, ну, конечно, та старая колокольня, что стояла в Тихвинском переулке напротив его окна и днём и ночью наблюдала за ним молча и пристально своими пустыми, без колоколов, проёмами, круглым разрушенным куполом без маковки и креста, где росли чахлые занесённые ветром берёзки. Он помнил колокольню среди зимних ночных буранов, янтарного морозного солнца, сиреневых весенних зорь, в желтоватом воздухе московской осени. Она была розовой, чёрно-серой, лазурно-голубой среди ливней и снегопадов. Неотрывно смотрела на него, терпеливо наблюдая, как он вырастает. С той таинственной новогодней ночи, когда на письменном столе у окна стояла его первая в жизни ёлка, и мамыны осторожные руки развешивали по колочим веткам серебряные шары, стеклянные шишки, дирижабль с надписью: “СССР”. У окна на свои чаепитья собирались бабушка и её братья, и в синие фамильные чашки лился чёрный, как смола, чай, и они вспоминали, умилялись, поминали с любовью старинный богатый дом, любящую семью, и в их воспоминаниях вдруг появлялась боль, надрыв, страдание. Братья кричали один на другого, винули в страшных грехах, погубивших семью, и бабушка кидалась их утешать и мирить. Кончалось всё слезами, молчанием

о какой-то страшной беде, постигшей эту русскую семью, как и другие русские семьи. Белосельцев сидел за старинным дубовым столом с хрустальными кубами чернильниц, старательно выписывал буквы в тетрадь с косыми линейками, а колокольня следила за его каракулями, и бабушка издали смотрела на него с обожанием. И такая бабушкина любовь, такая жертвенность окружали его, что он по сей день чувствует спасительный кокон этой любви. Бабушка где-то здесь, среди праведниц, и он обязательно отыщет её в белых облачках встающего над озёрами тумана.

Когда бабушка бредила, умирала, ей чудились ужасы, он подошёл к её кровати и спросил:

— Бабушка, ты узнаёшь меня?

И она, уже погружаясь в смерть, пролепетала невнятно:

— Люблю тебя!

Она лежала мёртвая на столе, где он когда-то готовил уроки, колокольня смотрела, как он плачет, и на зимний тополь прилетел красногрудый снегирь.

Пока длился его рассказ о колокольне, учитель Михаил Кузьмич куда-то исчез, и Белосельцеву больше некому было исповедоваться.

Он бродил по окрестностям, наблюдая за праведниками, которые строили птичьи гнёзда, а птицы торопили их, заселяли сооружённые гнёзда и тут же откладывали яйца.

Он увидел, как два пехотных офицера, сражавшихся в своё время на Багратионовых флешах, свили гнездо, в которое тотчас уселась малиновка, а её кавалер взлетел на вершину и дивно заливался, пламенея грудкой. Кузьма Минин, с трудом вкарабкавшись на дуб, поместил там сорочье гнездо. Сорока с сине-зелёным хвостом и белой грудью тут же обосновалась в гнезде, прихватив с собой золотые карманные часы, которые она украла у академика Ивана Петровича Павлова.

Белосельцев дождался, когда Кузьма Минин тяжело спустится с дерева, и обратился к нему:

— Удивляюсь, только что был здесь Господь, мы разговаривали с ним, и вдруг он исчез. Вы не видали случайно Господа Бога?

— Да как же, вот он! — Минин указал на молодцеватого мужчину в начищенных сапогах и лихом картузе. Тот стоял в рубахе навывпуск, засунув ладони под ремень, и Белосельцев узнал в нём псковского кузнеца Василия Егорыча, у которого в юности останавливался много раз, полюбив чудесную деревеньку Малы, где стояла кузня. И как тверды и красивы были её каменные белёные стены, как пахло углем, как сипели мехи, как драгоценно и ало светилась в сумерках раскалённая подкова, по которой звонко бил молоток кузнеца. Конечно, это был он, Василий Егорович. Как никто, мог сковать могильный крест. На всех окрестных погостах цвели эти кресты, похожие на пышные радостные букеты. Конечно же, это был Господь Бог, и к нему, робей и любя, устремился Белосельцев.

— Господи, это я. Пусть без зова, но явился к Тебе. Я столько должен сказать. Столько бесценных сведений я добыл на земле, куда Ты послал меня на разведку. Теперь я пришёл, чтобы дать Тебе отчёт.

— Что бы ты хотел мне поведать? — спросил Василий Егорович.

— На юге Анголы в Лубанго мы тренировали партизан намибийцев. Учили их взрывать водоводы, ведущие к алмазным копиям в Виндхуге. Мы провели прекрасную операцию, обесточили рудник, уничтожили два полицейских поста. Но когда вернулись на базу, прилетели два бомбардировщика “Импала” и разбомбили нашу группу. Командиру Питеру Наниембе оторвало обе ноги, он истекал кровью. Я дал ему свою кровь, и теперь он живёт с моей кровью. Когда он лежал на земле, дёргая кровавыми обрубками, к луже крови из травы устремись огромные чёрные муравьи и пили кровь, а Питер умолял застрелить его.

Василий Егорович рассматривал свои большие руки с несмываемым углем и железом и смотрел, как доктор Лиза вешает гнездо трясогузки, сплетённое из травы, и резвая птичка садится доктору Лизе на голову, а потом перелетает в гнездо, поводя торчащим хвостом.

— Что ещё мне хочешь сказать? — спросил Василий Егорович.

— В Эфиопии, во время войны с Эритреей получил задание вывезти из зоны боёв разведчика. Он был англичанин, но работал на нас, следил за поставками эритрейцам оружия под видом продовольственных конвоев. Он работал врачом в лагере для беженцев, и когда двумя бортами мы прилетели в Лалибеллу, в огромный лагерь, мы не сразу его нашли. На горячей земле стояли и сидели под палящим солнцем люди, похожие на скелеты. Тут же хоронили мертвецов, обкладывая трупы камнями, тело тут же испарялось на солнце. Над камнями дрожали стеклянные миражи. Когда я вошёл в лагерь, на моё сытое чистое тело набросились тысячи кровососов, стали жалить, язвить. Мы нашли врача, больного тифом. Погрузили на борт, на тюфяк, и я всё пытался взять у него информацию. У него распухло горло, он не мог говорить. Когда мы прилетели в Аддис-Абебу, он был мёртв. В его кармане мы нашли фотографию милой английской барышни, должно быть, его невесты.

Белосельцев умолк, ожидая, что скажет Василий Егорович.

— Всё, что ты сообщил, очень важно. Но расскажи лучше, как ты с друзьями гулял у Мальского озера и какие это были прекрасные люди.

Божественное зелёное озеро, стеклянный след от долблёной лодки, гора на той стороне, синяя от цветов. Ленивые сиреневые туманы в сосняках, рождающие дивные предчувствия, тайные мечтания о любви, о творчестве, о неизбежном, ожидающем тебя чуде.

Два друга, два реставратора приняли Белосельцева, наивного юношу, в свой мужской круг. Всеволод Смирнов и Борис Скобельцин, фронтовики, чудом уцелевшие на кромешной войне и славящие дивный мир, куда вернулись лишь избранные по неведомой воле Творца. Они реставрировали разрушенные псковские церкви, похожие на русские печи, которые в цветущих бурьянах пахли мёдом. Белосельцев обожал обоих, благоговел перед обоими. Всеволод Смирнов, мощный, мягкий, тяжеловесный, как медведь, учился у каменщиков класть церковные стены, у кузнецов, у Василия Егоровича учился ковать скобы, светильники и церковные кресты, у колокольных дел мастеров учился лить колокола. Крыл древесным гонтом церковные кровли, укреплял опавшие фрески и медленно, упорно вращивал в себе православного человека, благодарного Господу за чудо земной благодати.

Его друг Борис Скобельцин — восторженный, готовый восхищаться женской красотой, совершенством храма, женственной псковской природой, где цветет в полях, звезда в небе, заря над озером славили божественный дух, витавший над перламутровым миром. Втроем они были неразлучны, без усталости обходили заросшие травами храмы, ликующие монастыри, каменные кресты и надгробья, сопровождая свои походы пирами и трапезами в обществе красавиц, которые следовали за ними, пропадая в ржаных колосьях, золотых подсолнухах, в ночных русалочьих купаниях. Белосельцеву, который не расставался с друзьями, была наградой красота русской природы, русской безбрежной истории, ликующего бытия, которым одарила его эта дружба. И они, все трое, перевёртываясь, катились с горы, заворачиваясь в цветы, как в душистые одеяла.

Случилось загадочное, необъяснимое. Смирнов и Скобельцин возненавидели друг друга. Это была не просто неприязнь, это была ненависть. Частичка загадочной тьмы попала в их отношения и всё исказила, изорвала. Это была не ревность к женщине, не соперничество в искусстве, не расхождение взглядов. Это была тёмная ненависть, пугавшая своей необъяснимой беспощадностью. Они жили в одном доме и перестали встречаться. Сталкиваясь случайно на улице, переходили на другую сторону. Говорили друг о друге ужасные вещи. Белосельцев страдал, разрывался, беспомощно пытался их примирить. Скобельцина сразила болезнь. Зная, что умирает, из последних сил выбирался он из города к своей любимой Никольской церкви в Устье. Они сидели на берегу, видя, как плывут по озеру лодки с копнами зелёного сена, и у косцов были красные в вечернем солнце лица.

Борис попал в больницу и мучительно умирал. В седой бороде был виден чёрный, хрипло дышащий рот. Белки были жёлтыми, он водил глазами и не узнавал никого. Так случилось, что в больницу с той же болезнью попал Смирнов. Их палаты были на разных этажах. За несколько часов до Бориной

смерти Сева спустился к нему и сел в изголовье. Они молча сидели. Внезапно Скобельцин протянул ему руку, и Сева сжал её. Так и сидели, пока Боря не перестал дышать.

Хоронили Скобельцина в серый студёный день. Он лежал в гробу среди замёрзших цветов. Священник отпевал его, качал кадилом, вокруг стояли смиренные друзья. И вдруг из серого неба сквозь кадильный дым слетел голубь и сел на грудь Бори. И все изумлённо молчали, ставши свидетелями чуда.

Белосельцев всю жизнь разгадывал эту притчу о божественном примирении, о воссиявшей любви.

Всё это он поведал Господу, принявшему образ кузнеца Василия Егоровича, и не заметил, как тот исчез среди праведников, строивших гнёзда.

Белосельцев думал о друзьях своей юности, зная, что оба находятся в Царствии и скоро они повстречаются.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Над Царствием шёл дождь, мелкий, звенящий, нескончаемый, на несколько дней. Небо серое, тусклое, сеяло и сеяло брызги, от которых травы блестели, синие колокольчики слились, с деревьев капало, птицы умолкли, и эмалированные тазы под карнизами давно были переполнены, и в них беспомощно трепетали мотыльки и не умеющие выбраться жуки. Леса стояли молчаливые, сочные, полные тайного роста, когда вдруг под дубами встают на своих упитанных ножках крепкие боровики, и скользкие лесные улитки ещё не успели прорыть в их бархатных шляпках борозду.

Под навесом кипел самовар. Семён Михайлович Буденный смешил двух балерин императорского Мариинского театра, показывая, как у них в селе пили чай вприглядку. Он клал на стол кусочек сахара, пучил на него глаза, а сам хлюпал чай из блюдца, смешно раздувая усы. Белосельцев раздумывал, не накинуть ли ему брезентовый плащ с капюшоном, не пойти ли в лес и набрать корзинку свеженьких, с маслянистыми головками подосиновиков и подберёзовиков.

Он услышал далёкий стон и дрожанье земли. Мимо пролетела стая воробьёв, они торопились, и было видно, что они выполняют поручение Господа.

Стон усилился, он напоминал рык животного, которому причиняют мучение.

Толчки земли сменились хлопаньем и чавканьем, как будто месили глину.

— Что это? — спросили балерины у Семёна Михайловича.

— Изгоняют из Царствия, — ответил маршал, сурово нахмурившись.

— А зачем было брать?

— Недогляд вышел.

Белосельцев взглянул туда, откуда раздавалось хлопанье, и увидел странную процессию. Голые двигались под дождём Михаил Сергеевич Горбачёв, Борис Николаевич Ельцин, Андрей Дмитриевич Сахаров и Анатолий Александрович Собчак. Их босые ноги погружались в глину, тонули в ней, с хлопаньем выдирались. Чем дальше они шли, тем рытвина, которую они оставляли, становилась глубже, в ней бурлила вода. Они проваливались в гущу сначала до колен, а потом до бёдер и со стоном выдирались из жирного месива. Им сопутствовали их жёны: Раиса Максимовна, Наина Иосифовна, Елена Боннер и Людмила Нарусова. Все были голые, перепачканные глиной, висли на руках мужей, а те, охая и стоная, выворачивали ноги, которые тут же тонули в глине. В рытвине, которую они прорывали, бултыхались другие мужчины и женщины. Не все были знакомы Белосельцеву, к тому же они были перепачканы глиной. Тяжело несла свой огромный живот, непомерные синие груди Валерия Ильинична Новодворская. Вихляя крепко сбитыми ягодицами, шла Галина Старовойтова. Там же виднелся бородатый Шейнис и маленький Шахрай, который несколько раз падал и скользил в глине, как змея.

Процессию сопровождали серафимы, отсвечивая мрачным зелёным светом, напоминая конвоиров, охранявших колонну пленных. Множество воробьёв с гневным чириканьем летело над процессией, изгоняя её из Царства.

Ударил гром, и несколько раз ослепительно сверкнуло. Илья Пророк промчался на боевой колеснице, в которую была запряжена серебряная змея. Это была молния, которая обожгла Елену Боннер и ужалила Раису Максимовну. Процессия приближалась к границам Царствия, где стояли ворота из отсыревшего тёса и вдоль просёлка тянулись прясла. Когда серафимы стали выталкивать отлучённых от Царствия, Борис Николаевич издал страшный утробный рык, распугавший ангелов, а Михаил Сергеевич упал на колени и стал рыдать. Зелёные серафимы подталкивали их к береговой кромке, где кончалось Царствие Небесное и начиналась русская Арктика. Чёрные, как антрацит, льды уходили за горизонт. В небе жутко светила багровая звезда без лучей. Как чёрные продолговатые яйца, всплывали из-под льда американские подводные лодки. Было видно, что на одной лодке пожар. Когда Бориса Николаевича Ельцина и Найну Иосифовну подтолкнули на край обрыва, на просёлок, догнав процессию, выбежала Татьяна Дьяченко:

— Мама, папа! — кричала она. — Мама, папа!

Её удерживали праведницы, не пускали за тесовые ворота.

Серафимы по очереди сталкивали в черноту ночи изгнанников, и те проваливались под лёд, уходили в чёрную безмолвную бездну.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рытвина, зиявшая там, где прошли изгнанники, осушалась. Праведники вычёрпывали из неё воду, засыпали землёй. Высаживали молодые сосенки, и вскоре вместо уродливой рытвины зеленела молодая сосновая роща, и птицы отыскивали места для гнезд. Белосельцев, удручённый жестоким зрелищем, снова взялся искать Господа, чтобы предстать перед ним и поведать о земных деяниях.

Он расспрашивал праведниц, сажавших сосенки, не видали ли они Господа Бога.

— Да вот же Он! — ответили ему, удивляясь его рассеянности, и указали на немолодую женщину в фартуке и линялом платочке. Она перебирала сосновые саженцы. И Белосельцев изумился, как же раньше он её не заметил. Это была тётя Поля, у которой в селе Бужарве он поселился в юности, когда оставил Москву и уехал на природу, став лесником. Конечно же, это была она, хлопотливая, смешливая, многострадальная, как и все русские вдовы, которых обижали всю их жизнь, и они оставались сердечными, терпеливыми, хранили память о своих почивших мужьях. Конечно, тётя Поля и была Господом Богом, прожившим вместе с Белосельцевым две зимы и два лета в уютной избушке, где за русской печью стояла кровать, деревянный стол, за которым он писал свои первые рассказы. Долгими вечерами они играли с тётей Полей в карты, и та огорчалась до слёз, когда проигрывала. Иногда он приносил из магазина бутылочку красного, и тётя Поля, пригубив сладкую чарочку, пела дивные русские песни про любовь, про охотников и разбойников, рассказывала бесконечные истории о детях, что умерли в раннем возрасте, о тараканах, которые перед началом войны ушли из избы, о своих обидчиках, о добрых людях, помогавших в беде. И всё своим изумительным русским говором сказочницы и вещуньи. Когда подступали трескучие ночные морозы, они с тётей Полей переносили из сарая в избу и опускали в подпол кур и петуха, и ночью Белосельцев сквозь сон слышал, как из погреба кричит петух, и ему казалось, что в центре земли живёт птица с огненным гребнем, и земля на петухах стоит.

Конечно же, это она, тётя Поля, была Господом Богом, и к ней обратился Белосельцев.

— Господи, это я явился к Тебе, чтобы поведать, как в земной жизни я исполнял Твои задания. О чём Тебе рассказать? Быть может, о том, как в Мозамбике минировали аэродромы, куда из ЮАР приземлялись лёгкие самолётики с диверсантами? Пополняли запас топлива, брали взрывчатку и летели дальше взрывать нефтепроводы в Бейре. Аэродром был простым пустырьём в саванне, среди редких кустов. На песке оставался след самолётных

колёс от прежних посадок. Мы заложили в колею взрывчатку и стали ждать самолёт. К вечеру раздался треск мотора, похожий на цикаду. Самолёт был из фанеры, покрашенный в оранжевый цвет; он опустился на грунт, побегал и взорвался. Взрывом его перевернуло, и он горел колёсами вверх. Когда мы подошли, то увидели, что пилотом была женщина в комбинезоне, с автоматом “Узи”. Тебе это интересно узнать?

Тётя Поля печально вздохнула и, подперев щеку, задумалась, быть может, вспоминала своих умерших детей, от которых остались в сундуке лямбальные рубашечки, а под потолком — железное кольцо, в котором висела зыбка.

— Тогда послушай, как в Средиземном море на Пятой эскадре мы ходили на судёнышке радиолокационной разведки у берегов Ливана. Там, в долине Бекаа шла война, израильские самолёты взлетали из Хайфы и летели низко над морем, невидимые для радаров. Мы фиксировали их массовый взлёт, передавали информацию советским зенитно-ракетным полкам, прикрывавшим Бекаа. И когда израильские “кфиры” собирались нанести удар, они попадали под выстрелы наших зенитных ракет и, сторая, падали на оливки и виноградники. Это тебе интересно?

Тётя Поля молчала, только смахнула краем платочка слезу:

— Расскажи-ка мне лучше, Витюша, как видел лису.

Ну, конечно, он видел лису тем февральским солнечным днём, когда в счастливом одиночестве праздновал своё рождение. Лиса была послана ему в подарок этими янтарными полянами, розовыми шишками на вершинах елей, красной веткой брусники.

Он работал лесником, и его уголья касались стен Ново-Иерусалимского монастыря, взорванного немцами, напоминавшего гору с осевшей вершиной. Божественный Никон своей русской необъятной мечтой решил перенести под Москву святую Палестину, чтобы здесь, в подмосковных лесах, во время Второго пришествия опустились стопы Христа. Белосельцев носился по снежным полям на своих широких, как лодки, лыжах, не ведая, что, влетая в леса, он погружается в кущи Гефсиманского сада. А шагая по чёрным лесным дорогам среди красных и синих цветов, не догадываясь, что повторяет крестный путь. А ныряя в студёную Истру, не задумываясь над тем, что погружается в Иордан.

В монастыре он подружился с местным краеведом Львом Лебедевым. Дружба с ним длилась всю его жизнь и одарила его священным обожанием, русской тайной, знанием о русской Голгофе, русской пасхальной судьбе. Ночью они со Львом прихватывали керосиновый фонарь и шли в разорённый храм, хрустя по разбитым изразцам. Вставали под провалившийся купол, и сквозь огромный пролом смотрело на них всё сверкающее звёздное небо, как Божье лицо. Они молились, не зная ни одной молитвы. Лев Лебедев крестился и стал отцом Львом, а позже крестил Белосельцева в смоленском селе Тёсово. В день Казанской Божьей Матери Белосельцев опустил голые стопы в ледяную купель, и отец Лев облил его крещальной водой. И ночью они шли по Смоленской дороге, неся перед собой керосиновый фонарь, пели, читали духовные стихи, говорили о Русском Чуде, Русской победе.

Отец Лев, повторяя судьбу многих русских батюшек, пил горькую, ссорился с иерархами и позже ушёл в лоно зарубежной церкви. Он умер от разрыва сердца на аэродроме Кеннеди, возвращаясь в Россию.

Тётя Поля, дававшая приют Белосельцеву в течение нескольких лет, умерла дождливым осенним днём. Несколько лесников и он, Белосельцев, несли её лёгкий гроб на гору, где темнели кладбищенские берёзы. Могила была открыта, и на сырой земле разбросаны маленькие коричневые кости её детей. С ними она соединилась в могиле, на которой через год выросла жёлтая пижма.

Белосельцева не удивило, что тётя Поля, бывшая одновременно Господом Богом, куда-то исчезла, растворилась, истаяла среди других праведников, населявших Царствие. Господь Бог являлся ему в разных обликах, и Белосельцев безошибочно узнавал его по признакам святости, таким, как отсутствие тени или хождение по травам, которые не сгибались под шагами.

Белосельцев шёл по чудесным влажным лугам, которыми изобиловало Царствие. В травах краснели цветы с липкими головками, которые он

в детстве называл “богатырскими”. Ему казалось, что в таких лугах среди таких цветов пробирались на конях русские богатыри, и кони тонули в травах по самые гривы.

Он увидел среди луга малое светлое озерцо. Оно было окружено бахромой голубых анютиных глазок. В озерце, как в ванной, сидели молодые прекрасные женщины, выжимали из волос озёрную воду, поправляли прилипшие к телу, ставшие прозрачными сорочки. Их было девять, темноволосых, златокудрых, хрупких и гибких, полных и томных. Они увидели Белосельцева и стали звать к себе, в озеро. И он узнал в них женщин, которых любил когда-то и которые среди множества других мимолётных увлечений делали его счастливым, дарили несколько восхитительных лет, о которых теперь он вспоминал, как о божественном даре. Но среди этих девяти не было десятой, той, кто стала его женой, родила ему детей, провожала на войны и умерла у него на руках, сделав навеки несчастным. Жены Веры не было среди прелестных купальщиц. Не было её и среди других праведниц, населявших Царствие. И он среди несчётного множества праведников, удостоенных вечной жизни, не находил её, чувствовал её отсутствие, как горькую пустоту.

Купальщицы обрызгали его водой и подарили на прощанье большую синюю стрекозу, которая, шестая слюдяными крыльями, повела его к лесу.

Как хороша эта лесная тропинка! Молчаливая птица перебегает её, скрывается в кустах, на которых редко краснеют ягоды лесной малины. Вдруг паутина, сплетённая из тончайших радуг, преграждает тебе путь, и ты осторожно обходишь её, чтобы не потревожить дивное творенье. А на тропу уже падают круглые, как монеты, листья осины, и в каждом — голубая капля с отражением неба, и на губах горьковатый вкус скорой осени.

Белосельцев увидел, как навстречу идёт старичок с корзинкой, полной черники. Черничный сок вытекал сквозь прутья корзинки. Губы старичка были синие от сока, а глаза на сморщенном коричневом лице казались васьильками. Белосельцев сразу его признал. Это был карел Евграф, который приютил Белосельцева и его жену Веру в их медовый месяц в уютной избушке на берегу лесного карельского озера. И конечно, Евграф повстречался ему не случайно, ибо и он был Господь Бог, и перед ним предстояло держать ответ за земные деяния.

Они сидели на поваленном дереве, и Белосельцев спрашивал карела Евграфа:

— Рассказать тебе, как в Кампучии я сидел на броне трофейного американского транспортёра, захваченного вьетнамцами под Сайгоном, и мы прорывались через границу Таиланда, добывая отряды красных кхмеров? Лицо моё напоминало пухлую подушку от укусов москитов, и вьетнамский врач прикладывал к нему распаренный лист банана. Или хочешь, расскажу, как на границе Гондураса в заливе Фонсека состоялся бой пограничных катеров? Гондурасский катер был подбит, тонул, а сандинисты одиночными выстрелами добивали плавающих в воде гондурасцев. В этом заливе было много летающих рыб. Они, как блёстки, выпрыгивали из воды, падали на палубу катера и высыхали на солнце.

— Нет, — ответил карел Евграф. — Расскажи о другом. Сам знаешь, о чём.

Конечно, он знал. О чудесном Вохтозере, которое днём было зелёным от отражения лесов, а к вечеру в него погружалась негасимая малиновая заря, и гагара летела, роняя в озеро каплю, от которой медленно расходились серебряные круги. Они с женой шли сквозь огненно-красные сосняки, перешагивая гранитные выступы, по лесной дороге, где медведи паслись в черничнике и оставляли синие горки помёта. Вернувшись домой, в полутёмной бане при свете керосиновой лампы хлестали друг друга вениками, кидали ковшами воду на раскалённые камни, и вода взрывалась, летела под потолок огненным змеем, а они голые в темноте выскакивали из бани и падали в студёное озеро. Он обнимал её, стоя в тёмной воде, глядя, как над лесом встаёт луна. Однажды в лодке на середине озера, когда утомлённые, в сладком обмороке лежали на днище среди рыбьей чешуи и обрывков сетей, она, прижимая руки к животу, сказала:

— Я чувствую, он там, во мне. Я рожу.

А в нём — ликование. Он целовал её округлый дышащий живот, на который слетаются духи лесов и озёр, и их чадо уже знает о малиновой заре и гагаре, чувствует, как он целует её живот, и она говорит:

— Ведь правда, мы никогда не умрём?

Всё это Белосельцев хотел рассказать карелу Евграфу, но того уже не было. Только стояла корзина с черникой, оставленная Белосельцеву в подарок.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Белосельцев услышал отдалённые рыдания. Он не мог ошибиться — рыдала его жена. Значит, она была здесь, в Царствии. С ней было неладно, и Белосельцев, торопясь увидеть её, кинулся на звук рыданий. Пробежал болотом сквозь заросли осоки, оставлявшей на теле глубокие порезы. Продрался сквозь кусты боярышника, исцарапавшего острыми иглами. Перепрыгнул рытвину, оставленную изгнанниками. Рытвина уже зарастала молодым лесом, и он больно напоролся на сук.

Он выбежал на просёлок, который соединял Царствие с внешним, не обожествлённым миром, и увидел жену. Она находилась по ту сторону тесовых ворот, билась в руках двух праведников, похожих на санитаров, вырывалась, выкрикивая:

— Пустите, пустите меня! Я хочу быть вместе с ним, с моим милым! Пустите меня к мужу, я умоляю!

Она вырывалась, а её крепко держали, и было видно, что ей делают больно.

— Вера! — крикнул Белосельцев. — Я здесь!

Она увидала, рванулась к нему, но зелёный серафим преградил ей путь, сбросил на неё ворох берёзовых веток.

— Почему? — воскликнул Белосельцев, — Почему её не пускают в Царствие? Она добрее, жертвенней, боголюбивей многих из нас. Она выхаживала меня в болезнях, она отказалась от творчества, преуспевания, выращивая детей. Почему её не пускают?

Рядом стояла праведница с печальным утомлённым лицом. Это была Зинаида Гишиус. Она сказала:

— Ваша жена совершила неотмолимый грех. Она убила в себе младенца. Она в себе самой воздвигла плаху и на ней зарубила своего неродившегося сына. Такой грех невозможно отмолить. Даже молитвеннику Земли Русской преподобному Сергию, хотя и его, увы, нет среди нас.

Жена рыдала, накрытая шатром берёзовых веток. Воробьи тучами летали вокруг. Казалось, они хотят провести жену сквозь тесовые ворота, но не в силах это сделать.

Белосельцев, несчастный, беспомощный, стоял у изгороди, не в силах дотянуться до жены. Он помнил те мучительные месяцы, когда жена была беременна, а у него случился роман с красавицей, лицом своим напоминавшей воронежские иконы. Тонкая переносица, летящие брови, зелёные лесные таинственные глаза. Жена узнала о романе, хотела уйти из дома. Однажды, вернувшись домой, Белосельцев увидел жену, белую, как мел, и на этом бескровном лице жутко мерцали чёрные слёзные глаза.

— У нас не будет сына, — сказала она. — Теперь ты свободен.

А у Белосельцева — слепой ужас, немота. Он кинулся обнимать колени жены, целовал, рыдая:

— Что же ты сделала, Господи! Прости меня!

Теперь жена была отделена от него неодолимой преградой, за её спиной горела багровая звезда, хрустели льды. Её уводили в эту кромешную тьму, чтобы больше им никогда не увидеться.

— Милый, прощай! — донеслось до него. — Люблю тебя вечно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Горюя, не сдерживая слёз, Белосельцев брёл, куда глаза глядят. Встречные праведники уступали ему дорогу. Девочка, погибшая при пожаре в Кермерово, подошла и подарила ему тряпичную куклу. Две белых цапли следовали за ним в отдалении. А воробьи, они же ангелы, летели над ним, орошая его небесной росой. Но дело, ради которого Белосельцев явился в Царствие, звало его. Он должен был повидаться с Господом Богом, отправившим его на задание в земную жизнь и теперь призвавшего его к отчёту.

И Господь Бог не замедлил явиться. Это был человек со странным именем Маркиан Степанович, который одно время часто бывал в их доме, тайно влюблённый в маму. Он был русский интеллигент из числа чеховских или бунинских героев, увлекался живописью, был знаком с художниками “Мира искусства”. Он писал акварели. Принося их на показ маме, раскладывал на полу, и они с мамой подолгу их рассматривали, находя достоинства, скрытые от глаз Белосельцева. Теперь Маркиан Степанович возник перед Белосельцевым в беседке, в плетёном кресле, со своим сухим долгоносим лицом и бесцветными губами, которые постоянно жевали пустой янтарный мундштук, ибо мама запрещала ему курить в доме. Маркиан Степанович дружелюбно, чуть насмешливо смотрел на Белосельцева, готовясь произнести какую-нибудь свою витиеватую шутку, но Белосельцев, угадав в нём Господа Бога, спросил:

— Господи, могу ли я рассказать тебе о Карабахе, где русский лётчик-наёмник бомбил армянские позиции в Степанакерте, а другой русский — зенитчик — сбил его самолёт. Раненый пилот приземлился в расположении армян, те захихнули его в огромный баллон от “КамАЗа” и подожгли. Баллон дымил чёрной жирной сажой, пока не сгорел, не распался, и в нём чернела гора обгорелых костей. Рассказать ли об этом?

Маркиан Степанович покачал головой, давая понять, что рассказ не занимает его.

— Тогда расскажу, как в Приднестровье мы обшивали стальными плитами “КамАЗ”, устанавливали на нём пулемёты, и эти железные слоны двигались по улицам Бендер, поливая огнём наступавшие цепи румын. Один попал под удар гранатомёта, и казаку Майборде оторвало ногу.

— Нет, — произнёс Маркиан Степанович, — расскажи лучше о маме.

Что он мог рассказать о маме, если она была самой красотой, самой добротой, самым возвышенным благородством, воздухом, из которого он появился на свет. Как красивы были её густые каштановые волосы, которые она расчёсывала перед зеркалом костяным гребнем, и в зеркале горела короткая сочная радуга. Как чудесно пахли её духи, и как красиво было её праздничное голубе платье! Мама была тем хрупким побегом, дотянувшимся из прежней жизни в нынешнюю, в которой родился и рос Белосельцев. Секира, полоснувшая их многолюдный род, пощадила её. Она подкладывала на стол Белосельцеву подшивку журнала “Весы” со стихами Бальмонта и статьями Флоренского. Она водила его в Большой театр слушать “Пиковую даму”. Она возила его в Кусково, Останкино и Мураново, и он запомнил старую церковь, полную душистого сена, в которое он нырял, как в воду. Она учила его языкам. Однажды ночью, когда на стене в зелёном пятне уличного фонаря мотались тени деревьев, она рассказала историю рода, погибшего на этапах, в тюрьмах, сгинувшего в эмиграции, и он узнал о беде, которая заставляла рыдать бабушкиных братьев во время их чаепитий.

Она овдовела в тридцать лет, когда отец добровольцем ушёл на фронт и погиб под Сталинградом в штрафном батальоне. До старости, когда упоминали о погибшем отце, у неё начинали дрожать губы и наполнялись слезами глаза, и он боялся говорить об отце, боялся слёз, текущих из её прекрасных серых глаз. Архитектор, она шла вслед за войсками по сожжённому Смоленску и проектировала бани и прачечные для оставшихся жителей. Она работала всю жизнь, возвращая сына, не отказывая ему ни в чём, и он помнил её подарок — великолепный, лазурного цвета велосипед, на котором он катил по влажному голубому асфальту среди редких машин и весенних деревьев.

К старости она ослабела и много лежала. Он незаметно всматривался в её тёплую кофту, боясь, что вдруг не заметит её дыхания. Она сетовала, что он редко бывает с ней, сучала. Однажды, проходя мимо её комнаты, он услышал её неразборчивый бубнящий голос. Это она на память читала вступление к “Медному всаднику”. Она чувствовала, что приближается её конец, и занималась сборами, как собираются в путь. Аккуратно в папки сложила все свои рисунки, собрала все письма и фронтовые треугольники отца. Записала всю историю рода. Однажды он увидел, что она молча сидит на кушетке, и лицо у неё торжественное.

— Мама, ты что? — спросил он.

Она ответила:

— А всё-таки мы жили в великую эпоху.

Вскоре после этого она крестилась, и Белосельцев остро ощутил, что эпоха кончилась. Когда она умерла ночью, и он держал её остывающую руку, его поразило, что у него с мамой одинаковая форма ногтей.

Всё это Белосельцев рассказал Маркиану Степановичу, а когда кончил, того уже не было. С того места, где тот сидел, медленно удалялась белая цапля, обходя розовые кустики иван-чая.

Белосельцева не удивляла многоликость Божества, которое обретало образ, облегчавший общение с Белосельцевым. Если Бог был в купине неопалимой, в падающем, как небесный изумруд, метеоре, с ещё большей лёгкостью он мог предстать перед Белосельцевым в образе дорогих ему людей.

И таким дорогим человеком, что принял образ Божий, был генерал Альберт Михайлович Макашов. Он сидел за дощатым столом, на столе лежало перо кукушки, которая пролетела мимо в безуспешных поисках родного гнезда. Макашов не убирал перо, словно раздумывал, как употребить этот дар небес. Он был в полевой форме, с зелёными генеральскими звёздами, в своём чёрном знаменитом берете, в котором стоял на балконе Дома Советов, когда отдал приказ баррикадникам штурмовать Останкино. Белосельцев смотрел на его спокойное, с крепким носом и сжатыми губами лицо, в котором было знание о поджидавшей их всех судьбе.

— Господи, — произнёс Белосельцев. — Наконец-то я смогу рассказать Тебе то, что так тщательно сберегал и таил. Когда первые пулемёты ударили по баррикаде, и раненые женщины поползли к подъезду Дома Советов, чтобы укрыться от пуль, я уже знал о снайперах, которые разместились на крышах и стали выбивать то защитников Дома Советов, то десантников, скрытых под броней бэтээров. Это меняет представление о всей картине того кровавого дня. Тебе это важно знать?

Макашов чуть мотнул головой, давая понять, что сведения не заинтересовали его.

— Тогда знай, что бэтээры, притаившиеся у стен Останкино, заранее получили приказ стрелять по толпе, и я слышал, как пуля чмокнула в живое тело, а другая глухо ударила в дуб, что рос у Останкинской башни. И тот бешеный бэтээр с обезумевшим водителем, что врезался в толпу... Я кинул в него пластиковую бутылку с бензином, но промахнулся, и бензин горел на асфальте.

Макашов взял перо, окунул в чернила и на листе мелованной бумаги каллиграфическим почерком написал: “Повесть временных лет”. Отложил перо и произнёс:

— Расскажи лучше о жене, которая кинулась тебя спасать.

В то утро, когда к Дому Советов потянулся народ, и стали строить баррикаду из старой арматуры, истлевших досок, поломанной мебели, Белосельцев отправился к Дому Советов, и два его сына увязались за ним. Он видел, как они, похожие на муравьёв, тащат к баррикаде какие-то палки, катят пустые железные бочки, и он испытывал удовлетворение и отцовскую гордость, видя своих сыновей в рядах восставших. Изредка, выходя из Дома Советов, он видел сыновей среди баррикадников, которые играли на гитаре, танцевали, размахивали Андреевским флагом.

Когда формировался Добровольческий полк, и в одной шеренге маршировали старики-ветераны, худосочные юнцы, бородатые старцы, он видел,

как сыновья, сбиваясь с шага, маршируют, и у каждого из них на боку висят противогазные сумки. Старший нёс имперское чёрно-золотое знамя. Белосельцев увидел, как наперерез шеренге выбежала жена Вера с иконой в руках, загородила путь марширующим, истошно крича, стала выхватывать из рядов сыновей. А те сердились, отгалкивали мать. Ушли вместе с углой колонной, а жена, простоволосая, безумная, крестила иконой Дом Советов, баррикаду, угол здания, за которым скрылась шеренга.

Через несколько дней, когда грохотали танки, и баррикада, разнесённая в щепки, была завалена трупами, жена, обезумев, бегала к месту побоища в поисках сыновей. Дома она стояла на коленях перед иконой и страстным слёзным шёпотом молилась, и когда под утро один за другим явились домой сыновья, измученные, закопченные, жена целовала их лица, их руки и упала перед иконой без чувств.

Она тяжело умирала. У неё отказывали лёгкие, она не могла дышать, заходила странном удушьем. Говорила, что эти мученья даны ей за неотмолимый грех, когда она избавилась от ребёнка. В краткие часы, когда её отпускало удушье, она лежала в беседке среди берёз и дремала, а Белосельцев смотрел на её истощённое любимое лицо и просил Господа взять часть его жизни и передать ей. Чтобы она не уходила, чтобы оставалась лежать в беседке среди ровного шума берёз.

Та последняя страшная ночь. Она то заходила ужасным кашлем, то падала на подушки без сил. Он обнял её за плечи, усадил на кровати, и она, уже почти лишившись голоса, прощаясь с ним, утешая его, чуть слышно сказала:

— Нам всем предстоит пройти этот путь.

Она легла и больше не поднималась. Протянула ему руки, он взял их в свои, и они попрощались. И в этих прощальных пожатиях были все их снега, все серебряные метели, все ласки, все нежные слова и признания, и она передавала ему всё это на сбереженье, на вечную любовь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На опушке неуловимой желтизной и запахами сухой листвы притаилась осень. В белесой выцветшей траве неутомимо звенел кузнечик. Тут же стоял шалаш, крытый берёзовыми ветвями, сладостный дух которых пьянил. Среди этих ароматов в тени шалаша сидел старец. Он был с непокрытой головой, редкие мягкие волосы спускались до плеч. Лицо с куцей бородкой было серебристого цвета, а глаза, влажные от непрорыхающих слёз, казались то серыми, если над шалашом вставала туча, то синими, если над шалашом открывалась лазурь.

— Кто ты?

— Я инок Зосима.

— Это ты написал, что там, где кончается Россия, начинается Царствие Небесное?

— Я написал, а ты прочитал, вот мы оба и в Царствии.

— А если в Царствии, почему сердце болит?

— Ты сердце отвергни, оно и примет Царствие. А если сердце закрыто, то и чуда не будет. Говорят: «Россия! Россия!» А России нет никакой, а есть чудо. Открой сердце, и чудо вступишь, а значит, вступишь Россию. А Россию вступишь, значит, и Царствие обретешь. Глаза не открывай, глаз обманет. Сердце открой. Больше тебе ничего не скажу. Ступай, — после этих неясных слов старец скрылся в глубине шалаша и больше не появлялся. Белосельцев не взялся толковать иносказания старца, обратив на них не разум, а сердце.

Было тихо, и только в вянущей траве заливался кузнечик.

Вечерело, но обитатели Царствия вовсе не готовились к ночлегу. Среди них царило возбуждение. Они во множестве шли по тропинкам, переходили ручьи, покидали берега далёких озер, и все сходились к просторной поляне, окружённой высокими соснами. У каждого в руках была малая плешка, изготовленная из бересты, и в ней торчал клочок сухого мха.

— Что здесь готовится? — спросил Белосельцев у знаменитого летчика Чкалова, совершившего перелёт через Северный полюс.

— Как, вы не знаете? Сегодня в Царствии праздник Благодатного света. Вот, возьмите, — и он протянул Белосельцеву плоску с клочком мха.

Праведников становилось всё больше. Они занимали уже всю поляну, соседний бор, окрестные рощи, берег темневшей реки. Все молча стояли, держа перед собой плоски.

Птицы не ложились спать, а расселись на вершинах. Из леса вышли олени, косули и лоси и чутко вдыхали прохладный воздух. Два волка сердито рычали на овцу, которая пыталась с ними заигрывать. Наконец, стало совсем темно. Лица слабо белели, и лишь угадывалось, какое было их множество.

Внезапно на чёрной ночной реке возник отблеск, и стал виден паром, которым управляли двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев. На пароме горел стог сена, жарко отражался в чёрной реке. Паром причалил к берегу. Панфиловцы в несколько рук схватили горящее сено, но не обжигались, а несли на берег. Огонь не жёг, а только светил. Панфиловцы несли горящее сено, и все торопились коснуться стога своими плосками. Мох в плосках воспламенялся. Бесчисленные ручьи и реки благодатного света разбегались во все стороны. Становилось светло, как в полдневный час. Дивно сверкали озёра.

Цветы — голубые, белые, алые — горели на холмах. На вершинах сидели волшебные птицы, и их оперенье было похоже на цветное стекло. Рыбы выскакивали из воды и казались серебряными зеркалами. Крутом было несчётное множество озарённых счастливых лиц. Праведники целовали друг друга, славили Благодатный свет песнопениями. Огромный пылающий стог сена сиял в небе, как золотой слиток, озаряя все дали.

Белосельцев испытал небывалое счастье, несказанную любовь. Это счастье и эта неземная любовь делали Царствие наградой за земные лишения. Он благословлял этот золотой шар света, пылающий в самом центре небесной обители.

Белосельцев стоял среди праведников, держа берестяную плоску, в которой, как малая звезда, сиял Благодатный свет.

Рядом с ним стояли поэты, держа в руках лучезарные светочи, и читали стихи. Каждый читал, не слушая другого, так что их голоса напоминали пчелиный гул в полном мёда улье.

Белосельцев слушал гул их голосов, похожий на шум деревьев. Каждый отдельный стих был почти не различим. Но если вдуматься, то все их песнопения складывались в молитву: “Отче наш, сущий на небесах”. И все они на свой лад пели псалом и славили Господа.

Внезапно в глубине шара обозначилось лицо, огненные очи, грозные брови, сжатые сурово уста. Это был Пантократор, который когда-то так поразиł Белосельцева в Киевской Софии. Пантократор громоподобно пророкотал с неба, и вослед небесному грому промчались две огненные боевые колесницы. Илья Пророк и Енох стояли на колесницах, натянув поводья, и в поводьях бились две молнии, две серебряные змеи.

— Ты явился ко Мне без зова, — обратился Пантократор к Белосельцеву. — Ты не прожил свою земную жизнь до конца. Ты не исполнил Моё задание и не выполнил долг разведчика. Возвращайся на землю, проживи свои земные дни до конца, до последней минуты, а потом предстань предо Мной, и Я решу, достоин ли ты Царствия Небесного.

Лицо Пантократора скрылось, превратилось в пылающий стог сена.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Белосельцев сидел в кузове “КамАЗа”, упираясь грязной бутсой в железную бочку с соляжкой. Край драного брезента шлёпал по голове. Пыль залетала в кузов, пахло проливной соляжкой, кислым железом и газами из выхлопной трубы впереди идущего “КамАЗа”. В колонне, которая тряслась по грунтовой дороге, находилось шесть тяжёлых машин, наполненных людьми. Впереди, оторвавшись от колонны, пылили четыре “Тойоты” с крупнокалиберными

пулемётами, приваренными к раме. Две “Тойоты” замыкали колонну, и было видно, как пулёмётчики, замотав рты и носы платками, стоят в рост, ухватившись за стальные рамы.

Белосельцев устал от тряски, виски ломило, но он терпел, глядя на коричневые бугры сирийской пустыни, в которую погружалась колонна. Люди, окружавшие Белосельцева, были кто в камуфляже, кто в запылённых тужурках, и их вооружение состояло из потрёпанных, выдавших виды автоматов, ручных пулемётов и гранатомётов старого образца, с торчащими из стволов заострёнными зарядами. Все они были бойцами частных военных формирований, собранных из добровольцев, отслуживших срочную в российской армии, или из ополченцев Донбасса, переместившихся с одной войны на другую. На ту, где платили деньги, но не упоминали убитых в сводках потерь, и далеко не о каждом убитом узнавали в русских городках и украинских селах.

Колонна двигалась в район, находившийся под контролем курдов. Ей надлежало захватить небольшой нефтеперегонный завод, дожидаться подхода сирийской части и передать завод под её контроль.

Белосельцев присутствовал в группе как частный эксперт, используя посещение курдских районов для написания аналитической справки. Ни в интересах армии, ни в интересах спецслужб к его услугам давно не прибегали, и он сотрудничал с малоизвестным Институтом ближневосточных проблем, где ценили его дар неожиданных обобщений.

Рядом с Белосельцевым на грязном тюфяке устроился ополченец из Луганска Говоруха. Из-под вязаной шапочки у него торчал чуб, на круглом лице золотилась щетина. Он ёрзал, посмеивался, ему хотелось говорить, действовать. Монотонная езда утомляла его. В исцарапанных руках поблёскивали чётки из оникса. Он перебирал полупрозрачные зерна, ловко обходясь без двух отстреленных пальцев, которые потерял под Дебальцево.

— А мне всё равно, какому Богу молиться. Лишь бы помогал. Я в мечеть зайду и ихнему Богу помолюсь, и он помогает. Ещё ни разу не зацепило, а наш Бог не уберёт, два пальца ему подарил. — Говоруха весело показал обрубки пальцев, которыми ловко перебирал медовые камни чётков.

— А где, я тебя спрошу, Говоруха, водила со второго взвода Коржик? Пошёл в мечеть ихнему Богу молиться, а ему полчерепушки очередью снесло. Ты сперва его пристрели, а потом молись. Так, глядишь, домой и вернёшься. — Боец, позывной которого был “Лютый”, не расставался с автоматом, держал его на коленях. Раньше он был проводником в поезде, колесил по Сибири, а потом колея привела его в Сербию, на Донбасс, а теперь и в Сирию. У него было тяжёлое землистое лицо и зоркие, со злым огоньком глаза, которые до конца не закрывались даже во сне, остерегаясь опасности.

— Вернёмся, деньги получу, рассчитаюсь, и хватит с меня, домой. Всех денег не заработаешь, всех бородатых не перебьёшь. — Ополченец с позывным “Пила” задвигал острым кадыком, проглатывая коричневую от пыли слюну.

— Попрошь эти деньги, опять приедешь наниматься, — презрительно произнёс Лютый.

— Нет, не попрою. Я бизнес заведу, — как о мечте, которую давно лелеял, произнёс Пила.

— И что за бизнес? — хмыкнул Лютый.

— Лесопилку куплю. Кругом лес стоит. Буду брус пилить, доски. Сейчас на хорошие доски спрос.

— Из хороших досок для нашего брата гробы не делают. Давай попроще, с сучками.

Они замолчали. Ревели “КамАЗы”, шатало от борта к борту. Пахло железом, соляжкой, раздавленными польнями. Белосельцев смотрел на шершавые холмы, на придорожные кактусы, похожие на грязно-зелёные лепёшки, усеянные острыми иглами. Иглы были длинные, поблёскивали, как стальные. Это унылое зрелище то и дело заслонял обрывок грязного брезента. Белосельцев старался представить всю непостижимую, из вихрей и протуберанцев, картину войны, где сотни военных группировок, политических движений и партий, клубки интриг и запутанные интересы держав напоминали

огромный ломоть пластилина, куда были вмяты разноцветные языки. И уже было невозможно их разъять, чтобы обнаружилась подлинная обстановка. Белосельцев изучал военные усилия Ирана, посылавшего на сирийский фронт Стражей Исламской революции. Встречался с боевиками “Хезболлы”, ведущими наступление под Алеппо. Хотел уразуметь роль ХАМАС, которое всё больше втягивалось в конфликт. Старался уяснить ситуацию в курдских регионах, куда вторглись турецкие танки. Разгадывал мотивы Израиля и Саудовской Аравии. А главное, прогнозировал угрозу прямого столкновения русских и американских войск, что было чревато войной средней интенсивности, сначала на Ближнем Востоке, а затем и в Европе.

Белосельцев сравнивал потенциалы, следил за перемещением зон влияния, сопоставлял количество русских самолётов на базе Хмеймим и авиационных ударных сил, размещённых на американских авианосцах. И своей прозорливостью, своим прозрением рисовал эксцентрические сценарии событий, не доступные обычным аналитикам.

— А вы-то, я удивляюсь, зачем с нами в этой коробке трясётесь? — обратился к Белосельцеву Лютый. — Вам бы в вашем возрасте где-нибудь в штабе, с начальством.

— Твоё какое дело, Лютый, — перебил его Говоруха. — Человеку надо, человек интересуется, и ты в его дела не суйся. Невежливо.

— Да по мне хоть кто помирать начини, не сунусь. Каждый сам себе выбирает, где шею свернуть.

— Нам ещё рано шею ломать, — рассудительно заметил Пила. — Нам ещё надо расчёт получить и до дома добраться. А здесь без меня пусть все огнём горит.

Внезапно “КамАЗ” дёрнулся и встал. Послышалась стрельба. Все, кто находился в кузове, подхватили оружие и выпрыгнули на землю. Белосельцев встал в рост, держась за крышу кабины. Вся колонна стояла, люди высматривали на дорогу и беспорядочно стреляли в воздух. В этой азартной стрельбе не было ожесточения, а было нечто, напоминавшее забаву. Под разными углами, от разных машин неслись бледные пунктиры, скрещивались, расходились, искали кого-то в небе. Над колонной летал дрон, двукрылый, с длинным фюзеляжем и нелепо торчащим килем. Трассы пролетали совсем близко от него, не задевая. Он пролетел вдоль колонны, вильнул и ушёл в сторону, где текла река, мелко блестела, поросшая по берегам тростником. Белосельцев понял, что это Евфрат, и, вспоминая карту, подумал, что скоро они достигнут понтона, переправятся на тот берег, и там будет городок с нефтеперерабатывающим заводом, который предстоит взять с боем.

Проходивший мимо “КамАЗа” бородач в рваном свитере, глядя на Белосельцева, произнёс:

— А я говорю: “Командир, а где карта?” А он мне: “Нюхай. Нефтью запахнет, значит на месте”. А что, разве я собака, чтобы воздух нюхать? — и прошёл, кинув автомат на плечо.

— По машинам! — понеслось по колонне. Люди запрыгивали в “КамАЗы”, колонна тронулась. Белосельцев остался стоять, держась за крышу кабины. Евфрат блестел на перекатах, и хотелось оказаться возле реки, окунуть руки в солнечную прохладную воду, омыть воспалённое от ядовитой пыли лицо.

Белосельцев не глазами, а лбом, переносицей, тёмной складкой, разделявшей брови, почувствовал, как надвинулась и стала приближаться прозрачная мгла. Казалось, померкло солнце, и река потускнела. Из этой мглы, из волны тревоги и страха появились над рекой два вертолёт. Это были “Апачи”. Прозрачно блестели винты, мерцали стекла кабин. Вертолёты на высоте прошли вдоль колонны к её хвосту. Развернулись и, резко снижаясь, ринулись её догонять. Чёрные клинья вырвались из-под винтов, и часть дороги с машинами была срыта взрывами, словно скребком соскоблили с неё “Тойоты” и хвостовой “КамАЗ”. Тот подпрыгнул на всех колёсах, подержался в воздухе, опираясь на красные взрывы, а потом, несколько раз перевёртываясь, вылетел на обочину и горел. Из него выпадали люди, одни бежали, другие оставались лежать, третьи уродливо, как черепахи, ползли, загибая руками и ногами.

Другие два вертолѐта пошли в лоб колонне. Передняя “Тойота” ударила по ним из пулемѐта, но чёрные клювы вонзились в дорогу, и головные “Тойоты” были сметены взрывами, а передний “КамАЗ” загорелся, потерял управление, слепо лез на холм, остановился на вершине и продолжал гореть.

Первая вертолѐтная пара вернулась, покрыла дорогу бурлящими взрывами, долбила пулеметами, совершая крутые виражи. Настигала убегающих в степь бойцов и расстреливала.

Белосельцев оставался стоять в кузове, ожидая, когда волна взрывов накроет “КамАЗ”, и он исчезнет среди треска железа.

Говоруха с красной дыркой в голове лежал на тюфяке. Пила соскочил на землю, и закрыв затылок руками, бежал от дороги. Лютый от живота бил из ручного пулемѐта в удалявшийся вертолѐт. Отбросил пулемѐт, перемахнул через борт.

Третья вертолѐтная пара повисла над трассой, и Белосельцеву показалось, что он видит пилота в шлеме, подвески, с которых срываются снаряды. Трескучий красный столб взрыва поставил “КамАЗ” на дыбы. Белосельцев вылетел на дорогу, на минуту потерял сознание, а потом пришѐл в себя и, не в силах шевельнуться, смотрел, как горят разбросанные “КамАЗы”, как стремится ускользнуть “Тойота”, а за ней, покачиваясь в воздухе, гонится “Апач”. Белосельцев увидел, как из холмов выкатило несколько бѣтэров, с них прыгивали солдаты, обходили побоище, приставляли к лежащим длинные стволы скорострельных винтовок и добивали их. Увидел, как над ним склонилось гладко выбритое розовое лицо, ремешок шлема на подбородке и длинный ствол винтовки потянулся к его лбу. И всё погасло.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Белосельцев очнулся и обнаружил, что лежит на тюфяке, над ним низкий, грубо побеленный потолок, и сверху, словно свисая с этого потолка, надвинулось молодое лицо, соломенные светлые волосы, свежие розовые щеки и улыбающиеся губы.

— Как вы себя чувствуете, Виктор Андреевич? Наш врач осмотрел вас, не нашѐл переломов. Просто удар головой о землю. — Человек говорил на хорошем русском языке, но с прибалтийским, видимо, эстонским акцентом. — Не понимаю, как можно было выдвигаться с колонной, не имея карты, не проведя разведку, не получив воздушного прикрытия. Как вы, Виктор Андреевич, могли оказаться в этой неорганизованной толпе, прямо скажем, банде?

— Вы меня с кем-то путаете, — сказал Белосельцев, слыша, как свистит в горле. — Меня зовут Игорь Николаевич Кочетов.

— Ну, зачем мы играем в мышки-кошки? Вас зовут Виктор Андреевич Белосельцев. Вы генерал-лейтенант внешней разведки. Вы были в Вашингтоне, в штаб-квартире Неви Аналайсес, в рамках сотрудничества советских и американских спецслужб. Ведь так, Виктор Андреевич?

— Я Игорь Николаевич Кочетов, профессор кафедры геополитики в Институте международных отношений.

— Ну, зачем нам эти мышки-кошки, Виктор Андреевич. У нас есть подробное досье на вас, где за вами числятся операции в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Камбодже, Никарагуа, Эфиопии. Вы работали в аналитическом центре и не раз посещали “горячие точки”.

— Повторяю, я Игорь Николаевич Кочетов, профессор кафедры геополитики.

— Ну, хорошо, как угодно. Нам не нужно от вас никаких секретов. Все ваши разработки давно устарели. Все ваши аналитические методики давно уступили место математическому моделированию. Вы просто решили тряхнуть стариной и ещё раз понохать, как пахнет порох. Но ведь это мальчишество, Виктор Андреевич!

Эстонец укоризненно качал головой, понимая старческую слабость Белосельцева, осуждал её и одновременно отдавал ей должное.

— Нам нужно от вас немногое, Виктор Андреевич. Сейчас сюда придёт оператор, и вы назовёте своё подлинное имя и звание, и засвидетельствуете, что генерал ФСБ участвует в тайных операциях на территории Сирии. После этого вас поместят в хорошую клинику, а потом, если вы пожелаете, вас переправят в Америку или в любую страну Евросоюза. Я бы рекомендовал Эстонию. И Европа рядом, и Россия близко. Буду рад принять вас в моём доме.

Белосельцев чувствовал себя беззащитным, в полной власти врагов, знал, что сопротивление его будет непродолжительным и кончится гибелью. Но он решил сражаться. Перед ним мелькнула летучая рыба из залива Фонсека, просверкала у глаз и скрылась.

— Мы сделали запрос в вашу военную миссию относительно вас. Мы были готовы вас передать вашим военным, но они отказались от вас, отреклись. Сказали, что не знают никакого Белосельцева.

— И впрямь, откуда они могут знать. Сделайте у них запрос о Кочетове.

— Виктор Андреевич, мы с вами гуманные цивилизованные люди и не позволяем себе прибегать к насилию. Сейчас придёт наш медик, сделает вам инъекцию, и это взбодрит вашу память. Под камеру вы назовёте своё имя и звание и подтвердите своё участие в тайных операциях России.

Эстонец отвернулся и что-то крикнул. Появился оператор с камерой и человек в камуфляже и накинутом поверх униформы белом халате, видимо, медик. У него в руках был шприц. Он надколот ампулу, набрал в шприц прозрачную жидкость.

— Позвольте, Виктор Андреевич, вашу вену! — Эстонец закатал рубашку на бессильной руке Белосельцева, и медик вогнал в вену содержание шприца.

Белосельцев, занимаясь йогой, овладел способностью усилием воли разделять свою личность на две составляющих. Одну, в которой скрывалось его подлинное сознание, выносить за пределы тела, а вместо неё выставлять другую, которая являлась мнимой, лишь отражением первой. И в эту мнимую личность ушло содержимое шприца, а подлинная личность со стороны наблюдала последствия впрыскивания.

Он не испытывал боли, а только сладкое забытё, в котором блуждали странные образы, взятые из чьей-то другой памяти. Среди этих, доселе не ведомых образов высились зелёные пышные великаны, наполненные светлячками, и он различал чудесный запах распаренных веников. Среди галлюцинаций была одна очень странная, где ему привиделся Ленин в своей обычной жилетке, и из-под этой жилетки стало появляться крыло стрекозы, всё длинней, всё больше, вырастая до горизонта, где оно превращалось в сверкающую реку. То виделся ему его старый учитель Михаил Кузьмич, который что-то беззвучно читал, но по движению губ Белосельцев догадался, что это описание охоты из “Войны и мира”. То появлялся кузнец Василий Егорович, хмельной, с кружкой доморощенного пьяного пива. То перебегала тропу молчаливая птица, то краснел куст лесной малины. Всё это переливалось в нём, как отражение вечернего солнца в стеклянном шаре, что стоял на дедовском старом стуле, и в окне на тополе сидел красногрудый снегирь.

Белосельцев очнулся. Эстонец разочарованно смотрел на него:

— Вы обладаете практиками, позволяющими ускользать от психотропных препаратов. Вы целый час бубнили о каком-то Царствии и серафимах. Но я получил от руководства задание записать под камеру ваше признание, и я его добыюсь.

В помещение, стуча башмаками, вошли двое. Они были в форме, на головах платки, торчали похожие чёрные бородки. В руках были толстые лепёшки кактусов, усеянные длинными иглами. Они сволокли Белосельцева с матраса, кинули на матрас лепёшку и навалили на неё Белосельцева. От страшной боли Белосельцев закричал. Ему на грудь надавил башмак, и острые, твёрдые, как сталь, иглы вошли глубже, и у Белосельцева от боли пропал голос. Он лежал, пробитый иглами, и беззвучно дёргал губами. На грудь ему кинули другую лепёшку, ударом башмака придавили, и острые иглы пронзили ему соски, впились в живот, и он потерял сознание.

— Теперь вам лучше, Виктор Андреевич? Вы вспомнили, как вас зовут?

Это называется у нас “положить компресс”. Ну, что, включаем камеру? Только несколько слов. “Я, генерал-лейтенант внешней разведки, работаю в Сирии в интересах министерства обороны России”. Включаем?

Рубаха Белосельцева хлопала кровью. Казалось, иглы пробили лёгкие, и каждый вздох причинял нестерпимую боль. Хрипя и выплевывая кровь, Белосельцев произнёс:

— Я Игорь Николаевич Кочетов, профессор геополитики. Пить! Дайте пить!

— Вы хотите пить? — пухлые свежие губы эстонца улыбались. — Я принесу вам пить.

Эстонец вышел из помещения. Через минуту вернулся, держа в руках консервную банку. Поднес к губам Белосельцева и сквозь стиснутые зубы влил солярку. Белосельцев задохнулся, в глазах поплыли красные и фиолетовые круги, как пятна нефти на воде. Он услышал нарастающий гром. Это мчалась к нему боевая колесница. Запряжённая в неё серебряная змея свивалась кольцами, и Илья Пророк в доспехах и медном шлеме подхватил Белосельцева с матраса, усадил рядом с собой, и они мчались в прохладном ветре среди грома и молний. Белосельцев умер, из раскрытого рта текли солярка и кровь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Какое счастье было оказаться на знакомом просёлке и идти под неярким солнцем, наблюдая, как тёплый ветер выдёргивает из отцветших чертополохов лёгкие, как пух, семена, и они летят, переливаясь, как тихие звёзды, и некоторые нежно касаются его лица. Зелёные серафимы в своих пышных сарафанах встречали его запахом распаренных веников, а воробьи шумно и бестолково летели перед ним, садились на просёлок, а когда он приближался, снова взлетали.

На поляне, где недавно проходил праздник Благодатного света, он увидел жену Веру. Она была прекрасна со своим белым чернобровым лицом, малиновыми губами, какой нарисовала её когда-то их пятилетняя дочь.

— Ты здесь? Ты в Царствии? — он обнял её.

— Меня отмолил мой сын.

Белосельцев увидел, как по поляне идёт к ним высокий отрок с такими же, как у жены, прекрасными глазами. Подошёл и обнял мать, и в его волосах запуталась пушистая звезда чертополоха с крохотным ядрышком в глубине, и он вспомнил, что бабушка в детстве говорила ему, будто это крохотный лик Богородицы.

И бабушка была рядом с ними, он обнял её хрупкие плечи, целуя седую голову. И мама в своём синем нарядном платье пришла на поляну, и он улавливал чудесный запах её духов. Но, может быть, так пахли герани, растущие вдоль тёмных лесных дорог.

На поляну сходилась вся многочисленная родня, которую он помнил с детства и о которой слышал в фамильных преданиях. И уже был готов стол, и дышал самовар, усыпанный медалями, с узорным рогатым краном.

— Кого мы ждём? — спросила тётя Катя, та, что окончила Бестужевские курсы, а потом работала на раскопках в Помпеях.

— Отца Небесного, — ответил ей дядя Коля, награждённый золотым оружием за лихую атаку под Карсом.

Белосельцев посмотрел на далёкую опушку, где в осенних травах без устали пели кузнечики, и увидел, что от леса по поляне идёт к ним отец. Он был в солдатских обмотках и тяжёлых ботсах, в шинели, в какой бежал в атаку по минному полю в том последнем сражении у хутора Бабурки под Сталинградом. Отец шёл, не глядя под ноги, наступая на мины, и там, куда он наступал, вырастали золотые одуванчики. Он приблизился и обнял мать, и кончилось её вдовство, и они соединились, чтобы больше не расставаться.

Белосельцев всех их любил. Он был дома, был принят в Царствии. В небе пылал негасимый стог сена, и в его глубине, среди Благодатного света начинал возникать золотой Пантократор.